

# Королевство на четверых

## Сто дней

Книга первая

Юрий Адаменко

Юрий Адаменко

# Королевство на четверых. Сто дней

«Автор»
2026

**Адаменко Ю.**

Королевство на четверых. Сто дней / Ю. Адаменко — «Автор», 2026

Ещё вчера у Ани забирали идеи и подписывали их чужими фамилиями.Сегодня у неё чужое лицо, чужое имя и разваливающееся имение, в котором голодает целая деревня. А в придачу — долг, который не выплатить и за тридцать лет.Срок — сто дней.Кредитор — северный маркграф с ледяным взглядом. Он не верит ни одной её улыбке. Она — ни одному его нахмуренному взгляду.Аня не умеет ни колдовать, ни сражаться, ни падать в обморок. Она умеет только одно — заставить людей поверить в то, во что верит сама.Хватит ли этого, чтобы за сто дней превратить чужой дом в свой?И почему ей всё время кажется, что в этом мире она не одна?

© Адаменко Ю., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1 5
Глава 2 13
Глава 3 20
Глава 4 27
Глава 5 33
Конец ознакомительного фрагмента. 41

# Юрий Адаменко
# Королевство на четверых. Сто дней

## Глава 1

**Пятница, 19:42**

Дождь начался ещё в обед и к вечеру превратился в тот самый осенний дождь, который не идёт, а живёт: стекает по стеклу переговорки ровными, равнодушными дорожками, и кажется, что за окном не город, а аквариум с давно не мытыми стенками.

Аня смотрела на эти дорожки и считала. Не капли — минуты. Совещание шло второй час, и по всем законам природы должно было закончиться сорок минут назад, но законы природы на седьмом этаже бизнес-центра «Северный» не действовали. Здесь действовал Вадим Петрович. Точнее, его голос, который лился из чёрной пластиковой звезды громкой связи посреди стола и заполнял собой всё: воздух, паузы, головы.

— …я не понимаю, — говорил голос, и по тому, как он растягивал «не-е», было ясно, что понимать он и не собирается, — я не понимаю, как можно проиграть тендер, который был наш. Наш! Мы его полгода вели! Мне сегодня позвонили и сказали — знаете, что мне сказали?

Никто не знал. Все знали.

— Мне сказали: у ваших конкурентов презентация была живая. Живая, понимаете? А у нас — мёртвая. Таблички. Графики. Кто делал концепцию?

Аня перестала считать минуты.

Концепцию делала она. Три недели, два выходных и одну ночь, когда она сидела на кухне своей съёмной однушки с ноутбуком на коленях и вдруг поняла, как надо: не про логистику говорить, не про сроки и проценты, а про человека, который в шесть утра ждёт на складе фуру, и фура приходит. Про эти шесть утра. Она тогда даже засмеялась от радости — одна, на кухне, в два часа ночи, как дура. Написала первый слайд: «Мы привозим спокойствие». И дальше всё пошло само.

А потом концепцию забрали «на доработку». И на доработке из неё вынули шесть утра, вынули человека, вынули спокойствие, вставили сорок слайдов с диаграммами и подписали фамилией руководителя отдела. Который сейчас, кстати, сидел напротив и очень внимательно рассматривал свой ежедневник.

— Концепцию делал отдел, Вадим Петрович, — сказала Лена.

Она не подняла глаз. Она вообще редко поднимала глаза на совещаниях — листала свою папку, тонкую, синюю, с прозрачным клапаном, и делала пометки остро заточенным карандашом. Елена Андреевна Ковалёва. Тридцать четыре года, руководитель направления по антикризисному управлению, пришла в компанию полгода назад, и за эти полгода из компании ушли тридцать человек. Не все сами. Лену в коридорах называли Снежной королевой, но тихо, потому что у Снежной королевы был отличный слух.

— Отдел, — повторил голос с отвращением. — Отлично. Значит, будем говорить с отделом. Елена Андреевна, у вас есть предложения?

— Есть. — Карандаш замер. — В понедельник представлю.

— Вот. Вот! Хоть один человек в этой компании…

Денис, сидевший рядом с Аней, тихонько фыркнул и наклонился к ней, обдав запахом дорогого парфюма и дешёвой жвачки.

— Знаешь, почему мы проиграли? — прошептал он. — Потому что у них откат был двенадцать процентов, а у нас — восемь. Вся живая презентация — это четыре процента, мать.

Он сказал это громче, чем следовало. В переговорке стало тихо, как в лифте, где кто-то громко пошутил про обрыв троса. Денис Ушаков, закупщик, двадцать девять лет, обаятельный, как продавец гербалайфа, и надёжный, как прогноз погоды. Именно он, между прочим, в прошлом месяце не успел подать в срок заявку на комплектующие для того самого тендера. И именно он на разборе, глядя честными карими глазами, сказал, что заявку должен был согласовать склад, а склад не согласовал. Склад — это был Макс.

— Ушаков, — сказал голос в звезде, — вы что-то хотели добавить?

— Нет-нет, Вадим Петрович. Я говорю, презентация у конкурентов, наверное, правда была очень живая.

Никто не засмеялся. Даже из вежливости. Денис пожал плечами — не повезло с залом — и откинулся на спинку стула.

Аня опустила взгляд на свои руки. На ногти, которые она в понедельник собиралась накрасить и не накрасила. На колечко с маленьким зелёным камешком — мамино. Она носила его на среднем пальце, потому что на безымянный оно было велико, а отдать уменьшить было жалко: как будто тогда оно станет немножко не мамино.

«Опять, — подумала она без злости, просто устало. — Опять».

Ей было двадцать семь лет. Она работала маркетологом в логистической компании, которая возила всё — от холодильников до медицинских масок, — и за четыре года здесь придумала, наверное, сотню идей. Восемьдесят из них ушли в никуда. Пятнадцать — под чужими фамилиями. Пять реализовали, и про эти пять на корпоративе говорили «наш отдел молодцы». Она уже не обижалась. Обида — это когда ждёшь другого. А она перестала ждать.

Справа что-то негромко стукнуло о стол.

Аня повернула голову. Перед ней стоял высокий бумажный стакан с кофе — не из автомата в коридоре, а из кофейни на первом этаже, с её любимым ореховым сиропом, который там надо было специально просить, потому что его не было в меню. Крышка, картонный рукав. От стакана поднимался тонкий пар.

Макс уже сел обратно. Максим Гордеев, начальник складской логистики. Тридцать лет, широкие плечи, свитер с растянутыми рукавами, лицо, которое никогда ничего не выражало, кроме сосредоточенности. Говорили, он служил — лейтенант запаса, что-то там с инженерными войсками. Говорили, он может посчитать в уме, сколько паллет войдёт в фуру, если у фуры будет форма чемодана. Говорили, у него нет девушки, потому что он вообще ни с кем не разговаривает больше трёх фраз подряд.

Аня кивнула, не глядя толком. Просто кивнула — спасибо. Обхватила стакан ладонями. Тепло пошло по пальцам.

Он делал это часто. Не каждый день, но часто — особенно в такие вечера, когда совещание затягивалось и у неё становилось такое лицо, будто она сейчас заплачет или кого-нибудь убьёт. Ставил кофе и уходил. Ни разу ничего не сказал. Аня как-то решила, что он просто хорошо воспитан и ставит кофе всем, кому плохо. Потом заметила, что никому больше не ставит. Потом решила об этом не думать, потому что думать было некогда, а Макс всё равно молчал, и вообще, может, он так извинялся за ту историю с заявкой, в которой виноват был не он.

Она сделала глоток. Орех, горечь, сливки. Правильно.

— …и последнее, — сказал голос. — Я хочу, чтобы в понедельник у меня на столе лежал план. Кто остаётся. Кто нет. Елена Андреевна, это ваша зона.

— Да, Вадим Петрович.

— Всё. Свободны.

Звезда пискнула и замолчала.

Секунду никто не двигался. Потом все сразу зашуршали, задвигали стульями, полезли в телефоны — как будто кто-то нажал кнопку «пауза» и отпустил. Денис потянулся и громко зевнул. Кто-то из аналитиков уже набирал такси.

Лена закрыла папку. И, не поднимая головы, ровным, как линейка, голосом сказала:

— И ещё. Миронова, Анна Сергеевна. Задержитесь, пожалуйста, на минуту.

* * *

Задержаться пришлось действительно на минуту. Лена умела укладываться в минуту — это было, наверное, единственное, за что её искренне ценили.

Переговорка опустела. Денис, проходя мимо, сочувственно сжал Ане плечо — так сжимают плечо человеку на похоронах, если плохо знали покойного. Макс вышел последним, задержавшись в дверях на полсекунды дольше, чем нужно. Аня этого не заметила. Она смотрела на синюю папку.

— Я не буду ходить вокруг да около, — сказала Лена. — Вы человек взрослый, вы всё понимаете. В понедельник у Вадима Петровича будет список. Ваша фамилия в нём есть. Не в той части, которая «остаётся».

Аня ждала, что почувствует что-то. Ужас, ярость, обиду. Почувствовала только, что кофе в стакане остывает и надо бы допить, пока тёплый.

— Можно вопрос? — сказала она.

— Можно.

— Почему я?

Лена впервые за вечер подняла глаза. У неё были светлые, очень спокойные глаза — серые, как вода в лужах за окном. Красивое лицо, очень правильное, будто нарисованное по линейке. Ни одной лишней черты. Ни одной лишней эмоции.

— Потому что ваш отдел проиграл тендер, а вы в нём самый дорогой сотрудник без руководящей должности, — сказала она. — Ничего личного, Анна Сергеевна. Это просто математика.

— Концепцию тендера делала я.

— Я знаю.

Это было так неожиданно, что Аня растерялась.

— Знаете?

— Я читала первую версию. «Мы привозим спокойствие». — Лена произнесла это без насмешки, просто процитировала, как цитируют пункт договора. — Это была хорошая концепция. Её испортили. Но испортили её люди, которых я не могу уволить, а вас — могу. Вот и всё. В понедельник, в десять, у меня. Обсудим компенсацию. Вы получите хорошую компенсацию, я прослежу.

Она встала. Взяла папку, поправила идеально прямой пиджак и пошла к двери. Стук каблуков по ламинату — раз, два, три. У двери остановилась.

— Совет, — сказала Лена, не оборачиваясь. — Не тратьте эти выходные на слёзы. Обновите резюме и впишите туда эту концепцию. Своим именем.

Дверь закрылась.

Аня посидела ещё немного. Допила кофе — он уже был чуть тёплый, но всё ещё ореховый. Аккуратно сложила картонный рукав. Встала.

В коридоре было полутемно: верхний свет на этаже после семи гасили «ради экономии», и горели только дежурные лампы да синие огоньки на дверях серверной. Аня дошла до окна в конце коридора — большого, во всю стену, — и прислонилась лбом к холодному стеклу. Отсюда был виден город: мокрый, золотисто-рыжий от фонарей, с красными цепочками машин на проспекте. Где-то там была её однушка, где на кухне стоял ноутбук и сох в раковине одинокий бокал. Где-то там не было ни одного человека, которому она могла бы сейчас позвонить и сказать: «Меня увольняют».

Маме позвонила бы. Позапрошлой зимой — позвонила бы.

«Ладно, — сказала себе Аня. — Ладно. Не реветь. Она права, эта стерва, вот что обидно. Она права. Уйду сама. В понедельник приду в десять и положу на стол заявление раньше, чем она откроет рот. Пусть хоть это будет моё».

Она даже улыбнулась своему отражению — бледному, с размазанной под глазами тушью.

— Миронова уходит первой, — сказала она вслух. — Встречайте.

За стеклом, где-то между небом и крышами, вспыхнул свет.

Это была не молния — то есть не такая молния, как бывает. Не росчерк, не трещина в небе. Это был шар. Белый, круглый, неправдоподобно ровный, как будто кто-то повесил в воздухе лампу. Он висел совсем рядом с окном — метрах в десяти, а может, в двух, Аня не могла понять, — и не двигался. И не мигал. И был очень, очень тихим.

— Ой, — сказала Аня.

А потом стало громко.

Гул пришёл не снаружи — изнутри, из стен, из пола, из её собственных зубов. За спиной вскрикнул кто-то — кажется, Денис. Кажется, хлопнула дверь, и кто-то — кажется, Макс — побежал к ней по коридору, и она почти услышала, как он крикнул её имя, впервые, по имени, «Аня», а не «Анна Сергеевна» и не «привет».

Свет стал всем.

* * *

Первым был холод.

Не тот холод, когда забыла закрыть форточку, а сырой, каменный, въевшийся в стены за сотню лет. Он лежал на лице, на руках, забирался под веки. Потом пришёл запах: воск, сырость, старая шерсть, что-то кислое и травяное, как в бабушкином шкафу. Потом — тяжесть. Что-то давило на грудь и ноги, придавливало к постели, и Аня сначала испугалась, что её завалило — балкой, перекрытием, — а потом поняла, что это одеяло. Огромное, толстое, тяжёлое, как ковёр.

Она открыла глаза.

Потолок был деревянный. Тёмные балки, а между ними — потемневшая от копоти штукатурка с бледными разводами. В углу, над самой кроватью, свисала паутина, такая старая, что казалась кружевом.

— Ой, — сказала Аня второй раз за вечер. Голос был чужой — выше, тоньше и хриплый, будто она неделю кричала.

Справа что-то громыхнуло — упала миска или ведро — и раздался вопль. Так вопят не от страха, а от счастья, когда счастье уже не помещается внутри.

— Госпожа! Госпожа! Матерь Света, госпожа открыла глаза!

Над Аней возникло лицо. Круглое, румяное, конопатое, с вздёрнутым носом и мокрыми от слёз щеками. Белый чепец съехал набок, из-под него торчали соломенные кудряшки. Девчонке было лет шестнадцать, и она одновременно рыдала и смеялась, и хватала Аню за руки, и крестилась каким-то странным, незнакомым жестом — не крестом, а кругом, касаясь лба, сердца и губ.

— Госпожа жива! — кричала она. — Жива! А лекарь сказал — к утру преставится! Сказал — готовьте саван, Мирра, к утру! А я не готовила! Я молилась! Я всю ночь молилась, и у меня колени, госпожа, колени все синие, но вы живая!

— Подождите, — сказала Аня. — Подождите. Кто…

Она попыталась сесть. Одеяло не пускало. Руки, выбравшись из-под него, оказались не её руками.

Аня уставилась на них.

Тонкие запястья с выступающими косточками. Узкие ладони. Пальцы длинные, но не холёные — на подушечках жёсткие мозоли, ноготь на большом пальце обломан, под ногтями

тёмная кайма, как от земли. Кожа светлая, почти прозрачная, с голубыми прожилками вен. И никакого маминого колечка.

Это были руки девочки, которая много работала и мало ела.

— Так, — сказала Аня. — Так. Стоп.

Девчонка — Мирра? — замолчала и испуганно на неё уставилась.

«Сон, — думала Аня быстро, как думала на брейнштормах, выкидывая варианты на воображаемую доску. — Вариант первый: сон. Я уснула в коридоре у окна. Мне снится. Проверка: ущипнуть себя».

Она ущипнула себя за запястье. Больно. Чужое запястье покраснело.

«Вариант второй: больница. Меня ударило током, или молнией, или я упала и ударилась головой. Я в больнице, а это…» — она обвела глазами комнату: каменные стены, узкое окно со свинцовым переплётом, за которым серел рассвет, огромный пустой камин, сундук, деревянное распятие — нет, не распятие, круг на палке, — «…а это очень, очень странная больница. Нет».

«Вариант третий: розыгрыш. Денис. Это Денис устроил. Квест-комната, актриса, очень дорогой реквизит».

Мирра снова всхлипнула и вытерла нос рукавом — так, как никакая актриса вытирать не станет.

«Нет».

— Мирра, — сказала Аня осторожно. — Тебя ведь Мирра зовут?

Девчонка ахнула и прижала ладони ко рту.

— Матерь Света, госпожа меня не помнит! Лекарь говорил — горячка мозги выжжет! Говорил! Госпожа, это я, Мирра, я при вас с одиннадцати лет, я вам косы плету, я…

— Помню, помню, — торопливо сказала Аня, чтобы она не начала опять рыдать. — Просто голова кружится. Мирра. Дай мне, пожалуйста, зеркало.

Зеркало принесли не сразу. Мирра долго рылась в сундуке, бормоча что-то про то, что зеркало-то последнее осталось, большое люди маркграфа описали, а это, маленькое, она спрятала, потому что оно госпожи матушкино. Наконец вытащила: овальное, в потемневшей серебряной раме с завитками, размером с тарелку. Подала обеими руками, как святыню.

Аня посмотрела.

Из зеркала на неё смотрела девушка лет девятнадцати. Худенькая — нет, худая, с острыми скулами и запавшими после болезни щеками. Глаза огромные, серо-зелёные, обведённые синевой. Губы обветренные. Волосы спутанные, влажные от пота — рыжеватые, медного оттенка, как осенние листья в луже. На лбу — бледная полоска шрама у самой линии волос. Лицо не красавицы, но из тех, что запоминаются: чуть неправильное, живое, с вздёрнутым, как у Мирры, носом и упрямым подбородком.

Чужое лицо.

У Ани задрожали руки. Зеркало звякнуло рамой о спинку кровати. Внутри поднялось что-то огромное, тёмное, ледяное — та самая паника, от которой хочется закричать и не останавливаться, пока не охрипнешь. Аня знала эту панику. Встречала её дважды в жизни: в больничном коридоре, когда врач вышел и снял шапочку, и на маминых похоронах, когда поняла, что больше никто на свете не помнит, какой она была в пять лет.

Оба раза Аня сделала одно и то же. Сделала и сейчас.

— Ну, — сказала она своему отражению сиплым чужим голосом. — Ну хоть помолодела.

Мирра, которая ждала чего угодно — крика, обморока, проклятий, — открыла рот. Потом закрыла. Потом вдруг прыснула, сама испугалась и зажала рот кулаком, и плечи у неё затряслись.

— Госпожа шутит, — простонала она сквозь пальцы. — Матерь Света, госпожа шутит. Вы ж никогда не шутили!

— Правда? — Аня опустила зеркало. — Никогда-никогда?

— Никогда! Вы ж всё больше… — Мирра осеклась, покраснела до ушей. — Ну. Всё больше грустили.

«Запомнить, — подумала Аня, и эта мысль, деловая и привычная, вдруг помогла лучше всякого валерьянового чая. — Прежняя хозяйка не шутила. Грустила. Мирра её любит, но побаивается — видно по тому, как дёрнулась. Надо будет узнать почему».

Мир не перестал быть невозможным. Но в невозможном мире можно было делать списки. А списки Аня делать умела.

* * *

— Хорошо, — сказала Аня, когда Мирра принесла ей кружку горячего молока с мёдом и усадила в подушки. Молоко пахло дымом и коровой, и это было самое вкусное молоко в её жизни. — А теперь, Мирра, расскажи мне всё. С самого начала. Как будто я совсем-совсем ничего не помню. Лекарь же сказал, что горячка мозги выжигает? Вот. Считай, выжгла.

Мирру не надо было просить дважды. Она уселась на край кровати, сложила руки на коленях и затараторила так, будто ждала этого всю жизнь.

Звали Аню — то есть госпожу — баронесса Аннелиза фон Тиль. Девятнадцать лет исполнилось на Сретение. Род старый, «старше, чем у самого маркграфа, вот!», но небогатый. А последние годы — совсем небогатый. Матушка госпожи умерла, когда госпоже было двенадцать. Батюшка, барон Ульрих, пил. Сначала по праздникам, потом по воскресеньям, потом каждый день. Играл в кости с соседями, покупал охотничьих собак, которые дохли, ездил в столицу и возвращался с пустыми сундуками. Зимой, на Масленицу — тут Мирра снова сделала круг у лба, — его нашли в сугробе у ворот. Замёрз.

— А долги, — сказала Мирра шёпотом, — долги остались.

— Много?

Мирра посмотрела на неё так, будто Аня спросила, мокрая ли вода.

— Ой, госпожа.

После похорон приехали люди маркграфа. Важные, в серых плащах, с волчьей головой на пряжках. Ходили по дому, всё щупали, всё записывали. Описали серебро — «всё, госпожа, даже ложечки, которыми вы ещё во младенчестве…», — большое зеркало, ковры из гостиной, двух последних лошадей. Сказали: это пока. Это залог. А потом госпожа слегла. Сначала кашляла, потом горела, потом бредила и звала матушку, а позавчера перестала узнавать Мирру. Лекарь из города приехал вчера, посмотрел, пощупал, взял за визит последнюю серебряную монету и сказал готовить саван.

— А вы проснулись, — закончила Мирра и снова заплакала, на этот раз тихо и счастливо. — В саму ночь Равноденствия. Это знак, госпожа. Это Матерь Света вас вернула.

«Или кто-то другой», — подумала Аня, но вслух не сказала.

Она слушала и запоминала. Барон Ульрих — пил, замёрз. Маркграф — волчья голова, серые плащи. Матерь Света — местная религия, круг у лба. Равноденствие — сегодня, ну, вчера ночью. Слуг в доме, судя по оговоркам Мирры, осталось трое: сама Мирра, кухарка Марта, глухая на одно ухо, и дворецкий Гудрик, «который вас ещё на руках носил, а теперь ворчит, вы ж знаете». В деревне — душ сорок, «и все голодные, госпожа, потому что батюшка ваш прошлой осенью зерно продал, которое на семена было».

— Сорок, — повторила Аня.

— Сорок одна, — поправила Мирра. — У Ханны в Сретение двойня родилась.

Сорок одна душа. Аня вдруг очень ясно увидела их — не лица, а цифру, как на слайде. Сорок один человек, который зимой ел зерно, оставленное на семена. Который весной будет сеять то, чего нет.

— Мирра, — сказала она, — а что маркграф? Что он хочет?

Мирра замялась. Потом встала, подошла к маленькому столику у окна и взяла с него лист — плотный, желтоватый, сложенный втрое. Внизу на шнурке болталась печать тёмно-красного воска.

— Это принесли, когда вы уже горели, — сказала она виновато. — Я читать не очень… Гудрик читал. Гудрик сказал, лучше вам не показывать. Сказал, если помрёте — так хоть не с этим в голове. А раз уж вы живая…

Аня взяла лист. Развернула.

Почерк был чужой — острый, с длинными хвостами у букв, — но читала она его так же легко, как своё имя. Это было странно. Это было очень странно: язык был другой, буквы были другие, но слова сами складывались в голове, как будто она всю жизнь их знала. Аня решила подумать об этом потом, в списке «очень странное, пункт четыре».

«Его светлость Рейнар, маркграф Эстваль, владетель Северной марки, — гласил документ, — уведомляет девицу Аннелизу фон Тиль, баронессу, наследницу покойного барона Ульриха фон Тиля, о нижеследующем.

Покойный барон Ульрих фон Тиль задолжал роду Эстваль сумму в тысячу двести золотых крон, каковой долг подтверждён расписками, заверенными у королевского нотариуса в Мирхейвене (копии прилагаются).

Его светлость, памятуя о давней дружбе родов, не требует немедленной уплаты и даёт наследнице срок в сто (100) дней от весеннего Равноденствия.

По истечении означенного срока, буде долг не уплачен полностью или частью, достаточной для удовлетворения его светлости, имение фон Тиль со всеми землями, строениями, скотом и приписанными к нему людьми переходит в собственность рода Эстваль в уплату долга.

Писано в замке Эстваль, в месяц Снегогон.

Рейнар Эстваль».

Подпись была короткая, жёсткая, без завитушек. Как удар.

Аня прочитала документ ещё раз. Потом ещё раз — медленнее, отмечая про себя: тысяча двести крон. Сто дней. «Частью, достаточной для удовлетворения его светлости» — интересная формулировка, лазейка или ловушка? «Приписанные люди» — то есть крестьяне. То есть сорок одна душа, включая двойню Ханны.

— Мирра, — спросила она, — тысяча двести золотых крон — это много?

Мирра посмотрела на неё с таким ужасом, что ответ стал не нужен.

— Наше имение, госпожа, — прошептала она, — в лучший год, когда батюшка ваш ещё не пил, приносило крон сорок. В год.

Сорок крон в год. Тысяча двести за сто дней.

Аня опустила лист на одеяло. И вдруг засмеялась.

Это был нехороший смех — нервный, со всхлипом, с подступающими слезами. Но остановиться она не могла. Она смеялась, держась за ребра, которые болели после болезни, и слёзы текли по чужим щекам, и Мирра смотрела на неё с перепугом, явно решая, не бежать ли за Гудриком и святой водой.

— Прости, — выдохнула Аня. — Прости, Мирра. Я не сошла с ума. То есть, может, и сошла, но не от этого. Просто… — Она вытерла лицо краем одеяла. — Просто у меня в жизни, понимаешь, никогда ничего не было. Ни дома своего, ни мужа, ни детей, ни кота даже. Были только дедлайны. Сроки. «Сдать к понедельнику». «Успеть к пятнице». «Горит, Миронова, горит». Я в них жила, как в квартире. — Она снова посмотрела на печать с волчьей головой. — И вот я умерла — или что там со мной случилось, — и попала… куда-то. И что мне тут вручили первым делом? Дедлайн. Самый главный в жизни.

Мирра не поняла ни слова. Но кивнула — серьёзно, как кивают тому, кто сказал что-то важное.

За окном светлело. Где-то далеко, внизу, закричал петух — хрипло, натужно, как будто тоже только что выздоровел. Пахло сыростью, воском и молоком. В камине не было огня, потому что не было дров. В доме не было серебра, лошадей и большого зеркала. В деревне не было зерна.

Зато у неё была девочка в съехавшем чепце, которая всю ночь простояла на коленях. И сто дней.

— Ладно, — сказала Аня, и голос у неё, хоть и чужой, был уже почти твёрдым. — Ладно. Мирра, сколько у нас времени до срока? Точно. Сегодня какой день?

Мирра зашевелила губами, считая на пальцах. Пальцев не хватило, она начала заново. Потом подняла на Аню круглые, мокрые, совершенно несчастные глаза.

— Сто дней, госпожа, — сказала она. — Сто дней ровно. А потом маркграф заберёт всё — и замок, и нас.

# Глава 2

**Чёрное ей к лицу**

Первым был запах. Ладан — густой, сладкий, тяжёлый, от которого першит в горле. И лилии. Много лилий, слишком много, так много, что их приторный, чуть гнилостный аромат перебивал даже ладан и ложился на язык, как воск.

Лена ненавидела лилии. Их приносили на все похороны, на которых она была, — а была она на трёх: бабушкиных, маминых и одного коллеги, который выпал из окна офиса на девятом этаже после того, как она подготовила план реструктуризации его отдела. На тех третьих похоронах она стояла в последнем ряду, и вдова, проходя мимо, посмотрела на неё так, что Лена потом месяц не могла есть.

Она открыла глаза.

Перед ней был гроб.

Не метафорически. Настоящий гроб — тёмного полированного дерева, с бронзовыми ручками и кружевной оборкой по краю, на высоком постаменте, обтянутом чёрным бархатом. Крышка открыта. В гробу лежал мужчина: немолодой, лет сорока, с благородным усталым лицом, сединой на висках и сложенными на груди руками. Руки были в перчатках. На пальце поверх перчатки — тяжёлый перстень с тёмным камнем.

Лена стояла на коленях. Колени болели — судя по ощущениям, стояла давно. Под ними была жёсткая бархатная подушечка, на которой, видимо, полагалось стоять вдове. Вокруг горели свечи — десятки, может, сотня, в высоких шандалах и в маленьких плошках на полу. Каменные своды уходили вверх, в темноту. Где-то за спиной монотонно гудел мужской голос, читающий что-то нараспев, — слов она не разбирала.

И на руках у неё был ребёнок.

Тёплый. Тяжёлый. Мальчик лет четырёх, в чёрном бархатном костюмчике с белым воротником. Он спал, уткнувшись ей в шею, и сопел — горячо, влажно, доверчиво. Одна его рука обхватывала её за шею, другая сжимала в кулачке край её траурной вуали. Светлые, почти белые волосы липли ко лбу.

Лена не пошевелилась.

У неё не было детей. У неё никогда не было детей, и она никогда их не хотела. Она это знала про себя так же твёрдо, как знала свой размер обуви и свою группу крови. В тридцать один она легла на операцию, после которой детей не могло быть никогда, и вышла из клиники с ощущением огромного облегчения, как будто закрыла кредит. Никто об этом не знал. Мама не дожила, а больше рассказывать было некому.

А теперь на ней спал чужой мальчик, и ей было тепло там, где была его щека.

«Стоп, — сказала себе Лена. — Стоп. Оценка ситуации».

Этому её научили в первой компании, в двадцать пять, когда она пришла туда младшим аналитиком, а через месяц у них сгорел склад вместе с годовым запасом. Генеральный бегал по коридорам с телефоном и кричал. Финансовый директор заперся в кабинете. А старый советник по рискам, Игорь Львович, сел в переговорке, налил себе чаю, подозвал Лену и сказал: «Девочка, запомни. В кризисе первые десять минут проигрывает тот, кто заговорил. Молчи, смотри, считай людей».

Лена замолчала. Стала смотреть. Стала считать людей.

Вокруг гроба стояли и сидели — она скосила глаза, не поворачивая головы, — человек тридцать. Все в чёрном. Мужчины в длинных камзолах, женщины в платьях до пола и в чепцах с вуалями. Ближе к гробу — богатые: бархат, мех, золотые цепи. Дальше — попроще: сукно, лён. Совсем у стен — слуги: передники, грубые башмаки, склонённые головы.

Никого не было рядом с ней. Вдова — а она, видимо, вдова — стояла на коленях одна. С ребёнком.

Голос за спиной закончил читать. Наступила тишина. Потом кто-то тронул её за плечо — легко, почтительно. Лена подняла голову.

Над ней стояла пожилая женщина в чёрном, с прямой спиной и связкой ключей на поясе. Лицо — сухое, строгое, с глубокими морщинами у рта.

— Ваша светлость, — сказала женщина тихо. — Пора. Процессия.

— Да, — сказала Лена.

Голос был чужой. Ниже, чем у неё, — грудной, бархатный, с хрипотцой, будто она долго плакала. Лена отметила это, как отмечают пункт в отчёте, и встала.

Ребёнок на руках зашевелился, но не проснулся. Он был тяжёлый, очень тяжёлый — она понятия не имела, что четырёхлетние дети такие тяжёлые. Женщина с ключами протянула руки, чтобы забрать его, но мальчик, не открывая глаз, вцепился в Лену сильнее и захныкал.

— Оставьте, — сказала Лена. — Я понесу.

Женщина посмотрела на неё — коротко, внимательно, странно. Потом опустила глаза и отошла.

* * *

Процессия шла медленно, как и положено процессиям. Гроб несли шестеро мужчин в чёрном. За гробом шла она — с ребёнком на руках, — за ней остальные. Из часовни через длинную каменную галерею, потом через двор, мощённый серой брусчаткой, к семейному склепу в глубине сада.

Лена шла и слушала.

Это было её главное умение — слушать то, что говорят не тебе. В любой компании, в любом коридоре, у любого кулера люди говорят. Шёпотом, вполголоса, «между нами». Они думают, что их никто не слышит. Лена слышала всё.

— …так внезапно, — шептала одна женщина другой у неё за спиной. — Ещё на прошлой неделе охотился. А в четверг слёг — и всё.

— Сердце, говорят.

— Сердце… В сорок два года…

— А она-то, гляди. Не плачет.

— Так она и при нём не плакала. Тихая была, как мышь. Он её из монастыря взял, говорят, беспризанницу, а она ему и спасибо…

— Тише ты!

Лена шла и складывала мозаику. Граф. Умер внезапно — в четверг слёг, сегодня — она глянула на небо, на голые деревья, на лужи с тонким льдом по краям, — сегодня ранняя весна. Вдова тихая, из монастыря, беспризанница. Не плакала при муже. Не плачет и сейчас.

— …мальчонку жалко, — говорил мужской голос, по-видимому, из слуг. — Тео-то. Отца, считай, и не узнал.

— А граф его любил. На коленях держал, на коне катал…

Тео. Мальчика зовут Тео. Лена посмотрела на светлую макушку у своего плеча и мысленно повторила: «Тео».

Галерея кончилась, и процессия свернула вдоль длинного ряда высоких окон, выходивших во внутренний двор. Окна были тёмные — снаружи ещё не рассвело как следует, — и в каждом из них, одно за другим, проплывало отражение.

Лена увидела себя.

Сначала она не поняла, что это она. Просто высокая женщина в чёрном, с ребёнком на руках, — одна из многих. Потом женщина повернула голову одновременно с ней, и Лена остановилась бы, если бы могла себе позволить остановиться.

Женщине в стекле было лет двадцать пять, может, двадцать шесть. Тёмные, почти чёрные волосы, гладко убранные под вуаль. Бледная кожа — та особенная, фарфоровая бледность, которой в её мире добивались годами и за большие деньги. Тонкий прямой нос. Тёмные брови вразлёт. Губы — полные, красиво очерченные, но сжатые в нитку. И глаза: большие, тёмно-серые, почти графитовые, в обрамлении густых ресниц, с тенями усталости под ними.

Это было лицо красавицы. Настоящей, из тех, на которых оборачиваются на улице и о которых пишут стихи. Лена никогда не была красивой. Она была «ухоженной», «эффектной», «стильной» — это всё слова, которыми называют женщин, потративших много сил, чтобы казаться красивыми. Она знала, сколько стоит каждый сантиметр её прежнего лица: косметолог, стилист, абонемент в бассейн, ранние подъёмы, отказ от хлеба. Это лицо не стоило ничего. Его просто дали.

«Не мне, — поправила она себя. — Ей. А она умерла».

Отражение в следующем окне было уже не таким чётким. Потом процессия свернула, и окна кончились.

Позади, совсем рядом, кто-то из гостей прошептал — мужчина, судя по голосу, немолодой и не вполне трезвый:

— А чёрное-то ей к лицу.

— Помолчите, барон, — шикнула на него дама. — Постыдились бы.

— А что я? Я правду говорю. Восемь лет её видел в сером да в коричневом. А тут — гляньте. Королева.

Лена не обернулась. Но спину выпрямила ещё сильнее, хотя казалось — сильнее уже некуда.

Они дошли до склепа. Тяжёлые каменные двери были распахнуты, изнутри тянуло холодом и сыростью. Гроб внесли внутрь. Священник — или кто он тут был, в серой рясе с вышитым на груди кругом, — снова начал читать. Люди стояли полукругом и ждали.

И тогда к ней подошёл мужчина.

Высокий. Лет тридцати пяти. Темноволосый, с правильным, почти красивым лицом, похожим на лицо покойного, но мягче и моложе. Глаза — влажные, тёмные, с длинными ресницами, как у оленя. Платок в руке. Платок он прижимал то к глазам, то к губам, и Лена отметила, что глаза у него, несмотря на платок, сухие.

— Элеонора, — сказал он тихо и проникновенно. — Дорогая сестра.

«Элеонора, — запомнила Лена. — Меня зовут Элеонора. Он — брат мужа. Деверь».

Мужчина взял её под локоть — мягко, но крепко. Слишком крепко для утешения. Слишком быстро — до того, как она успела хоть что-то сказать.

— Вы так бледны, — сказал он, наклоняясь к ней. Голос у него был бархатный, ласковый, в нём было столько сочувствия, сколько бывает только у очень плохих актёров и очень хороших мошенников. — Вы еле держитесь на ногах. Я видел, как вы стояли у гроба всю ночь. Позвольте мне… — он протянул руки к ребёнку, — позвольте мне позаботиться о мальчике. Вы так слабы, дорогая. Горе, я понимаю. Такое горе. Вам нужно отдохнуть. А Тео побудет со мной. Я всё-таки его дядя.

Его руки уже почти касались Тео. Ещё секунда — и он бы его взял.

Лена знала эту интонацию. Она слышала её в переговорных, когда члены совета директоров «предлагали помощь» генеральному, у которого провалился квартал. «Вы так устали, Сергей Михайлович. Позвольте нам взять на себя этот проект». И через месяц Сергей Михайлович уже искал работу, а проект назывался по-другому.

* * *

Лена не отступила. Не вырвала локоть. Не повысила голос.

Она просто повернула голову и посмотрела на деверя. Так, как смотрела на людей, которые приходили к ней с отчётами, где цифры не сходились.

— Благодарю вас, — сказала она. Её новый голос — низкий, бархатный — звучал ровно, без единой трещины. — Вы очень заботливы. Но я не слаба. Мой сын останется со мной. А ваша рука, — она опустила взгляд на его пальцы у себя на локте, — сейчас причиняет мне боль. Вы, вероятно, этого не заметили.

Пальцы разжались. Мгновенно, будто обжёгшись.

— Простите, — пробормотал он. — Простите, дорогая, я…

— Ничего. — Лена чуть кивнула. — Горе. Я понимаю.

Он отступил на шаг. На его лице мелькнуло что-то быстрое, острое — не обида, не растерянность. Расчёт. Он пересчитывал её. Так, как пересчитывают противника, который неожиданно оказался сильнее, чем по разведданным.

Лена отвернулась к склепу.

Краем глаза она видела, как переглянулись две служанки у стены. Как экономка с ключами — та самая, что звала её к процессии, — чуть приподняла брови. Как кто-то из богатых гостей наклонился к соседу и что-то шепнул.

«Прежняя графиня была тихой, — думала Лена. — Тихой, как мышь. Мышь не стала бы так разговаривать с деверем. Значит, я веду себя неправильно».

Она подумала об этом ровно три секунды. И решила: плевать.

Мышь — та, что была здесь до неё, — стояла на коленях у гроба одна, и никто не подошёл к ней, кроме деверя с сухими глазами. Мышь не плакала при муже. Мышь, судя по шёпоту в процессии, никто не уважал. Быть мышью Лена не собиралась. Пусть удивляются. Удивление проходит. А уважение остаётся.

Поминки были в большом зале, который здесь, кажется, назывался трапезной. Длинные столы под чёрными скатертями. Блюда с мясом, с пирогами, с какой-то запечённой птицей. Кувшины вина. Свечи, свечи, свечи.

Лена посадила Тео — он проснулся, но был сонный, тихий, с большими серыми глазами, которые смотрели на неё с непонятным выражением, — рядом с собой во главе стола. Экономка — её звали фрау Хильда, это Лена услышала, когда к ней обратилась служанка, — принесла мальчику молока с хлебом. Сама Лена не ела. Не могла: от запаха мяса и вина её мутило.

Она вела поминки, как совещание.

Это было нетрудно. Поминки, в сущности, и были совещанием — только повестка не объявлялась вслух. Кто где сидит — это иерархия. Кто к кому подходит — это альянсы. Кто сколько пьёт — это слабости. Кто с кем шепчется — это заговоры.

Она смотрела.

Деверя звали Гаспар — это она поняла через полчаса, когда к нему обратился толстый господин в мехах. Гаспар сидел по правую руку от неё, через одно пустое место. Пил немного. Ел мало. Много говорил — с каждым, кто подходил, тихо, проникновенно, с платком у глаз. Трое подходили к нему чаще, чем к ней. Один из них — сухой старик в тёмно-синем, с цепью на груди, — что-то долго ему говорил, а Гаспар кивал, и лицо у него было серьёзное, деловое, совсем не скорбное. Лена запомнила старика.

Толстый господин в мехах выпил пять кубков и дважды ущипнул служанку. Запомнила.

Дама в фиолетовом, сидевшая на дальнем конце, весь вечер не сводила глаз с Гаспара и ни разу на него не посмотрела прямо. Запомнила.

Экономка Хильда стояла у стены, сложив руки, и смотрела на Лену. Каждый раз, когда Лена поднимала голову, Хильда опускала глаза. Запомнила.

В какой-то момент Тео потянул её за рукав.

— Мама, — сказал он шёпотом.

Лена вздрогнула. По-настоящему, всем телом, как от удара током. Никто никогда не называл её мамой. Никто никогда не назовёт — она это знала.

— Что? — спросила она. Получилось резче, чем хотела.

Тео втянул голову в плечи.

— Можно мне ещё хлеба?

Лена посмотрела на него. Маленький, бледный, в чёрном костюмчике, с крошками на воротнике. Отец умер. Мать — мать, которая, судя по шёпоту, была тихой, как мышь, — сидит рядом и смотрит на всех, как на противников. А он просит хлеба. Шёпотом. Будто боится, что не дадут.

Она отломила половину своего — нетронутого — и положила ему на тарелку.

— Ешь, — сказала она. И, подумав, добавила: — Сколько хочешь.

Тео улыбнулся. Неуверенно, одним уголком рта.

Ближе к концу поминок — когда свечи оплыли наполовину, а гости уже говорили громче, чем полагается в доме, где лежит покойник, — к ней подошёл слуга с серебряным подносом. На подносе стоял один кубок. Тяжёлый, с чеканкой, тёмный от старости. В нём — вино, густое, почти чёрное.

— Поминальное, ваша светлость, — сказал слуга и поклонился. — Как вчера, у гроба. Его милость господин Гаспар велели подать.

Лена посмотрела на кубок. Запах ударил ей в нос — терпкий, винный, с пряностями, — и желудок, и без того весь вечер стоявший комом, сжался так, что она едва не согнулась.

«Как вчера, у гроба».

Значит, вчера она — то есть Элеонора — пила это вино. У гроба. Ночью. Перед тем как…

Она подняла глаза.

Гаспар смотрел на неё. Через пустое кресло, поверх своего кубка, мягко, сочувственно, с платком у губ. Смотрел, как смотрят на человека, который вот-вот сделает что-то очень важное. Взгляд был тёплый. Слишком внимательный для тёплого.

А у стены стояла фрау Хильда. И смотрела не на Лену — на кубок. Лицо у экономки было каменное, но пальцы, сжимавшие связку ключей, побелели.

— Благодарю, — сказала Лена. — Поставьте.

Слуга поставил кубок перед ней и отошёл. Лена не притронулась к нему. Сидела, положив руки на стол по обе стороны от кубка, и смотрела, как в тёмной поверхности вина дрожит огонёк свечи.

Через минуту Гаспар отвёл глаза. Через пять — встал, извинился перед соседями и вышел из зала. Через десять фрау Хильда подошла к столу, будто бы поправить скатерть, — и, проходя мимо, неловко задела кубок рукавом. Вино опрокинулось и растеклось по чёрной скатерти, почти невидимое, только запах стал сильнее.

— Простите, ваша светлость, — сказала экономка, не поднимая глаз. — Стара стала, неуклюжа. Сейчас велю принести другое.

— Не надо, — сказала Лена. — Я не хочу пить.

Хильда на мгновение подняла голову. Их взгляды встретились — коротко, на полсекунды. В глазах старой экономки было что-то, чего Лена не смогла прочитать: не страх, не сочувствие, не подозрение. Что-то вроде вопроса.

Потом Хильда поклонилась и ушла, унося мокрую скатерть.

* * *

Ночью её вывернуло.

Это случилось внезапно — Лена только успела снять с себя траурное платье с помощью молоденькой испуганной горничной, отпустить горничную, лечь в огромную кровать с балдахином и закрыть глаза, — как желудок скрутило так, что она согнулась пополам. Она едва успела добежать до умывальной — маленькой каморки за ширмой, с медным тазом и кувшином, — и её рвало долго, мучительно, пустотой и жёлчью, потому что за весь день она не съела ни крошки.

Потом она лежала на холодном каменном полу. Щекой на камне. В одной сорочке, мокрой от пота. Тело трясло. Сердце колотилось часто, неровно, с пропусками, как плохо отлаженный мотор. Во рту было горько. Не просто горько, как бывает после рвоты, — горько особенным, странным привкусом, сладковато-горьким, с оттенком чего-то знакомого.

Лена лежала и пыталась вспомнить, где она знала этот привкус.

Марципан. Миндаль. Горький миндаль.

Она вспомнила. В восьмом классе, когда она ещё хотела стать врачом — до того, как поняла, что медицина не кормит, а антикризисное управление кормит, — она прочитала толстую книгу про яды. Там был раздел про цианиды. Привкус горького миндаля. Слабость, рвота, сердцебиение. В малых дозах — мучительное недомогание. В больших — смерть за несколько минут.

Она лежала на полу и думала: «Прежняя Элеонора умерла. Вот почему здесь я. Её отравили, и она умерла — у гроба мужа, на коленях, с ребёнком на руках. Кто-то очень хотел, чтобы вдова не пережила похорон. А я пережила. Потому что я — не она. Или потому что доза была рассчитана на её силы, а не на мои».

Она лежала и думала: «Граф умер внезапно. В сорок два года. Сердце. В четверг слёг. Охотился на прошлой неделе».

Она лежала и думала: «Деверь с сухими глазами слишком быстро протянул руки к ребёнку».

Мысли текли холодно и ясно — так всегда бывало с ней в кризисе. Пока все вокруг паниковали, Лена превращалась в машину. Машина не боится. Машина считает.

Если граф умер не сам. Если вдову отравили. Если деверь хотел забрать мальчика. Значит, мальчик — ключ. Мальчик — наследник. Наследник чего-то, что стоит двух убийств.

Значит, мальчика тоже могут…

За стеной заплакал ребёнок.

Тонко, жалобно, с надрывом — так плачут не от боли, а от страшного сна. Плач поднимался, захлёбывался, становился громче. Никто не шёл. Лена слышала, как он плачет, и ждала, что сейчас хлопнет дверь, зашлёпают босые ноги няньки, раздастся успокаивающий голос.

Никто не шёл.

«Не моя проблема, — сказала себе Лена. — Я не умею с детьми. Я не хочу детей. У него есть нянька. У него есть экономка. У него есть кто-нибудь».

Плач не прекращался. Теперь в нём было слово — одно, повторяемое снова и снова, сквозь всхлипы:

— Мама… Мама… Мама…

Лена закрыла глаза.

Женщина, которая в тридцать один год легла на операцию, чтобы никогда не услышать этого слова, медленно поднялась с холодного пола. Держась за стену, потому что ноги дрожали. Вытерла рот тыльной стороной ладони. Накинула на плечи тяжёлую шаль, брошенную на кресло. И пошла к двери, за которой плакал чужой ребёнок.

Детская была рядом — через небольшую комнатку, где на лежанке мирно храпела толстая нянька. Лена прошла мимо, не разбудив. В детской горел ночник — плошка с маслом, крошечный огонёк. Тео сидел в кроватке, прижав к себе плюшевого медведя с одним глазом, и рыдал.

Он увидел её — и замолчал. Мгновенно. Будто выключили.

Он смотрел на неё огромными мокрыми глазами. И в этих глазах было что-то, от чего у Лены перехватило дыхание: не радость, не облегчение. Страх. Он боялся, что она уйдёт.

— Мне приснилось, что ты тоже умерла, — прошептал он.

Лена села на край кроватки. Неловко, не зная, куда девать руки. Потом протянула одну — и положила на светлую макушку. Волосы были мягкие и влажные.

— Я не умерла, — сказала она.

Это была правда. И одновременно — самая большая ложь, которую она когда-либо говорила. Его мама умерла. Сегодня. На коленях у гроба. А это сидит не она.

Тео прижался к ней — весь, целиком, вместе с медведем. Лена замерла. Потом, медленно, как будто делала что-то очень сложное и опасное, обняла его.

Он уснул через несколько минут. Она не ушла. Сидела в темноте, в шали поверх мокрой сорочки, с горьким миндалём на языке, с ребёнком на руках, и смотрела на огонёк ночника.

Где-то внизу, в доме, скрипнула дверь. Прошли шаги — мягкие, осторожные. Остановились. Ушли.

Лена смотрела на огонёк и думала о том, что у неё в этом мире нет ни одного союзника. Ни одного человека, которому можно доверять. Нет денег — она пока не знала, есть ли у неё деньги. Нет знаний — она не знала ни законов, ни обычаев, ни даже того, какой сейчас год. Есть только чужое тело, в котором ещё не выветрился яд. И ребёнок, которого кто-то, возможно, тоже хочет убить.

Ей было страшно. Впервые за много лет — по-настоящему страшно.

Лена позволила себе бояться ровно минуту. Потом закрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула. Как перед советом директоров. Как перед увольнением тридцати человек. Как перед любым кризисом, который нельзя предотвратить, но можно пережить.

— Кто-то убил тебя, Элеонора, — прошептала она в темноту, гладя спящего мальчика по голове. — И, похоже, теперь это моя проблема.

# Глава 3

**Болт**

Боль была первой. Она пришла раньше света, раньше звуков, раньше мыслей — огромная, раскалённая, вся сосредоточенная в одной точке под левой ключицей. Как будто туда вбили гвоздь, а гвоздь раскалили.

Потом кто-то взялся за гвоздь и потянул.

Макс заорал. Он не хотел орать — он вообще никогда не орал, даже в армии, даже когда на учениях ему придавило ногу понтоном, — но сейчас заорал, хрипло, страшно, и выгнулся, и чьи-то руки вдавили его обратно в жёсткое, колючее, пахнущее сеном.

— Держите его, курицы! — рявкнул женский голос прямо над ухом. — Держите, говорю, а то я ему вместе с болтом лёгкое выдерну!

Его держали. Кто-то навалился на ноги, кто-то — на правое плечо, кто-то вцепился в волосы. Макс открыл глаза.

Над ним было лицо. Женское, веснушчатое, раскрасневшееся. Рыжие волосы — не медные, не каштановые, а ярко-рыжие, морковные, — стянуты в узел на затылке, выбившиеся пряди прилипли ко лбу. Брови сведены. Губы сжаты. В зубах — кожаный ремешок, который она, видимо, держала, чтобы не мешал. Руки — крупные, красные, сильные, как у мясника, — обхватывали что-то, торчащее у него из груди.

Короткое. Деревянное. С железным оперением.

Арбалетный болт. Макс видел такие на картинках. В исторических реконструкциях. В кино.

Женщина выплюнула ремешок.

— Не дёргайся, — сказала она. — Сейчас будет больно. Потом будет не так больно. Потом ты или сдохнешь, или нет. Понял?

— По… — начал Макс.

Она дёрнула.

Мир побелел. Потом почернел. Потом вернулся — медленно, кусками, как изображение на старом телевизоре. Макс лежал, задыхаясь, и чувствовал, как по груди течёт горячее. Женщина держала в руке болт — окровавленный, с клочком ткани на наконечнике — и разглядывала его, как разглядывают огурец на рынке.

— Ты гляди, — сказала она одобрительно. — Целый вышел. Наконечник не обломился. Повезло тебе, сотник.

Она отшвырнула болт куда-то в сторону, схватила с пола глиняную бутыль, зубами выдернула пробку и плеснула ему прямо в рану.

На этот раз Макс не заорал. На этот раз у него просто не хватило воздуха.

Жгло так, что слёзы потекли сами. Запахло спиртом — крепким, сивушным, деревенским. Женщина уже прижимала к ране какую-то тряпку, сложенную в несколько слоёв, и туго бинтовала поверх полосами грубого полотна, перекидывая их через его плечо и под мышку. Руки у неё работали быстро и уверенно, без лишних движений. Так работает человек, который делал это много раз.

— Не сдох, сотник? — спросила она, затягивая последний узел. — Жаль. Я уже поделила твои сапоги.

— Что? — прохрипел Макс.

— Сапоги, говорю. — Она наконец посмотрела ему в глаза, и Макс увидел, что глаза у неё зелёные, светлые, с жёлтыми искрами, и что в уголках этих глаз, несмотря на грубость, стоят слёзы. — Тебе-то они уже ни к чему, думала. Гансу обещала. У Ганса подмётки совсем отвалились. Теперь придётся перед Гансом извиняться. Спасибо тебе, сотник, удружил.

Она встала. Вытерла руки о подол — рыжий, суконный, весь в бурых пятнах. Кто-то из тех, кто держал Макса, хохотнул.

— Женька, ты б хоть поздоровалась с человеком, — сказал мужской голос. — Он, может, с того света вернулся.

— С того света не возвращаются, Ганс, — отрезала она. — А раз вернулся — значит, на этом и не помирал. Нечего было болты собой ловить.

Она развернулась и вышла, хлопнув дверью.

Макс лежал и смотрел в потолок.

Потолок был низкий, бревенчатый, с щелями, через которые пробивался серый свет. Пахло сеном, кровью, сивухой и чем-то кислым — немытыми телами, старой кожей, прелой соломой. Под ним был тюфяк, набитый соломой, колючий даже сквозь рубаху. Рубаха была не его. Руки были не его — крупные, жилистые, со сбитыми костяшками и белым шрамом поперёк правой ладони.

«Женька, — подумал он. — Её зовут Женя».

Это было не важно. Это была первая мысль, которая пришла в голову, и она была не важная. Важно было другое.

Важно было то, что последнее, что он помнил, — это коридор седьмого этажа. Полутемно. Дежурные лампы. Синие огоньки на дверях серверной. И она — у окна. Одна. Лбом к стеклу.

Он видел, как Снежная королева задержала её после совещания. Видел, какое лицо у Ани было, когда она вышла из переговорки. Он знал, что это значит — весь офис знал про список, только никто не знал, кто в нём. Он стоял у кулера, делая вид, что наливает воду, и смотрел на неё. Думал: подойти. Сказать что-нибудь. Хоть что-нибудь. «Не переживай». «Найдёшь лучше». «Хочешь, я тебя подвезу». Три года думал — и ни разу не подошёл.

А потом за стеклом вспыхнул свет. Белый шар. Рядом с ней — совсем рядом, у самого окна.

Он побежал. Он кричал её имя. Он почти добежал.

Белая вспышка — и её лицо у окна. Растерянное. Почти детское.

Больше ничего не было.

— Аня, — сказал Макс в бревенчатый потолок.

Солдат, который держал его за ноги, — рябой, беззубый, в рваной кожаной куртке, — непонимающе переглянулся с товарищем.

— Бредит, — шепнул он. — Бабу зовёт.

— Пущай зовёт, — сказал второй. — Зато живой.

* * *

На стену он вышел на третий день.

Женя сказала, что он рехнулся. Сказала, что если у него откроется рана, она её зашивать не будет, а пусть он хоть кровью истечёт, хоть сдохнет, — у неё и без него дел полно. Потом, когда он всё-таки встал и, держась за стену, вышел из лазарета, догнала его на лестнице, сунула ему в здоровую руку палку, чтобы опираться, и ушла, не сказав больше ни слова.

Он поднялся на стену.

Это была не стена, понял он сразу. Это был частокол. Брёвна в два человеческих роста, заострённые сверху, вкопанные в земляной вал. Местами брёвна подгнили и покосились. Местами — выпали, и в дыры можно было пройти, не пригибаясь. Вдоль частокола, с внутренней стороны, тянулся деревянный помост на подпорках, и по нему можно было ходить — осторожно, обходя провалившиеся доски.

С помоста было видно всё.

Крепость стояла на высоком берегу реки, у брода — широкого, мелкого, с отмелями и перекатами. Вода была мутная, весенняя, быстрая. За рекой — степь. Бескрайняя, плоская,

желтовато-серая, ещё не зазеленевшая, с редкими пятнами кустарника и чёрными проплешинами. Над степью — небо. Огромное, низкое, всё в рваных облаках.

С этой стороны реки — крепость.

Макс смотрел на неё и считал. Это было единственное, что он сейчас мог делать нормально, и он делал это.

Казармы — три длинных бревенчатых барака. У одного провалилась крыша. У второго не было двери. Третий, самый крепкий, был, видимо, жилым: из трубы шёл дым.

Конюшня — одна, большая, полупустая. Он насчитал девять лошадей. Две хромали.

Колодец — один, в центре двора, с журавлём. Рядом — корыто, у корыта — лужа, в луже — свиньи.

Кухня — пристройка к третьей казарме. Из неё пахло горелым.

Арсенал — каменный, маленький, с тяжёлой дверью. Единственное каменное здание в крепости, кроме башни.

Башня — четырёхугольная, в три яруса, у ворот. Сторожевая. На верхнем ярусе — флаг, выцветший до серо-бурого цвета, с неразборчивой эмблемой.

Ворота — двустворчатые, дубовые, окованные железом. Одна створка висела на одной петле.

Люди.

Люди были хуже всего.

Они слонялись по двору — без дела, без строя, без смысла. Кто-то спал на солнце у стены казармы, завернувшись в плащ. Кто-то играл в кости, сидя на перевёрнутой бочке. Двое дрались — вяло, без азарта, — и никто их не разнимал. Один мочился прямо у колодца. Ещё один, сидя на ступеньках арсенала, пил из бутылки — средь бела дня, на виду у всех.

Макс насчитал сорок три человека.

— Сорок три, — сказал он вслух.

— Сорок четыре, — поправил голос сзади. — Ты забыл себя посчитать. Хотя, конечно, какой из тебя теперь вояка.

Женя поднималась по лестнице на помост. Без спешки, с корзиной в руке. В корзине лежали бинты и какая-то склянка.

— Сорок четыре, — согласился Макс. — А по списку?

Женя остановилась. Посмотрела на него странно — как будто он спросил, сколько у неё ног.

— По списку, сотник, двести. Ты ж сам этот список прошлой осенью подписывал. Не помнишь?

— Не помню, — честно сказал Макс. — Голова.

— Голова, — повторила Женя с непонятной интонацией. — Ну-ну.

Она поставила корзину на помост и встала рядом с ним, глядя на двор.

— Двести было на бумаге, — сказала она. — Сто шестьдесят — на самом деле, когда ты приехал. Зимой, когда обоз не пришёл, тридцать ушли. Просто ушли, ночью, со всем добром. Ты их не ловил. Потом ещё двадцать. Потом ещё. Потом… — она махнула рукой. — Потом остались те, кому идти некуда. Сорок три. Сорок четыре, с тобой.

— А почему остались?

— А куда им? — Женя пожала плечами. — Половина — беглые. Половина — бывшие каторжные. Половина — дураки. — Она подумала. — Ну, то есть половина и того, и другого, и третьего. За ними по всему королевству розыск. А тут — крепость. Тут хоть крыша.

Макс посмотрел вниз. На человека у колодца, который закончил мочиться и теперь пытался умыться из той же лужи, где лежали свиньи. На игроков в кости. На пьяного на ступеньках арсенала.

— Сколько у нас припасов? — спросил он.

Женя усмехнулась. Криво, одним уголком.

— Это ты у меня спрашиваешь?

— У тебя.

— Ну так я тебе и скажу. — Она загнула палец. — Муки — на две недели, если по полкружки в день. Солонины — две бочки, одна с червями. Пиво кончилось месяц назад, и они от этого злые. Стрел — на один хороший бой. Арбалетов — шесть, из них ходят три. Мечей — сколько хочешь, все ржавые. Сапог — у половины нет. Денег — нет. Жалованья не видели с осени.

Она загибала пальцы, и пальцы кончились. Начала на второй руке.

Макс считал вместе с ней.

Как он считал на складе — паллеты, коробки, накладные. Входящее, исходящее, остаток. Он умел это делать во сне. Он однажды, после двух суток без сна во время инвентаризации, свёл баланс по тринадцати тысячам позиций в уме, пока ехал в метро, и ошибся только на две коробки скрепок.

Здесь цифры не сходились.

Не сходились ни в какую сторону. С какой стороны ни подойди — не хватало. Людей. Еды. Оружия. Денег. Времени. Всего.

— Лекарь? — спросил он.

— Я.

— Кашевар?

— Был. Помер зимой. Теперь варит кто проиграет в кости. — Она кивнула вниз, на пристройку, из которой тянуло горелым. — Сегодня, видать, Йорг проиграл. Йорг и воду сожжёт.

— Квартирмейстер?

Женя повернулась и посмотрела на него в упор.

— Я, сотник. Квартирмейстер — я. С прошлой весны. Ты сам меня назначил, когда старого Клауса в реке нашли. Сказал — баба хоть воровать не будет, ей некуда. — Она прищурилась. — Тоже не помнишь?

— Не помню, — сказал Макс. И, подумав, добавил: — Но правильно назначил.

Женя открыла рот — и закрыла. Что-то в её лице дрогнуло: то ли удивление, то ли обида, то ли что-то третье, чего Макс не разобрал. Она подхватила корзину и пошла вниз по лестнице, топая так, что помост ходил ходуном.

Макс постоял ещё немного. Потом, опираясь на палку, спустился во двор.

Солдаты на него смотрели. Он чувствовал эти взгляды кожей — как на складе в первую неделю, когда пришёл новым начальником к грузчикам, которые предыдущего начальника выжили за месяц. Тяжёлые, оценивающие, насмешливые. Игроки в кости перестали бросать. Драчуны разошлись. Пьяный на ступеньках арсенала поднял бутылку, будто приветствуя.

— Здравия, сотник! — гаркнул он и икнул. — Живой, значит? А мы уж думали, Женька тебя отпела!

Кто-то заржал.

Макс подошёл к колодцу. Посмотрел на лужу. На свиней. На корыто. Потом на землю вокруг — истоптанную, грязную, с жёлтыми потёками, — и на угол казармы в десяти шагах, откуда несло так, что слезились глаза. Отхожее место. Канава, прикрытая досками. В десяти шагах от колодца, на склоне, — так, что после каждого дождя всё стекало прямо к срубу.

Он долго стоял и смотрел на этот склон. В армии, на сборах, им читали лекцию про полевую гигиену — скучную, обязательную, с плакатами. Капитан медслужбы, усатый, с больной спиной, говорил: «Товарищи курсанты, больше солдат умерло от поноса, чем от пуль. Запомните это, если не хотите хоронить своих людей по причине собственной глупости». Все смеялись. Макс запомнил.

— Кто у вас болеет животом? — спросил он громко.

Смех оборвался.

Солдаты переглянулись. Потом рябой Ганс почесал в затылке и неуверенно сказал:

— Ну… все, сотник. С зимы. Как вода пошла талая — так и пошло. Двое померли. Женька травы даёт, да толку…

— Понятно, — сказал Макс.

Он больше ничего не сказал. Развернулся и пошёл обратно — к лестнице, к стене, к помосту, — чувствуя спиной, как они смотрят ему вслед.

— Чего это он? — шепнул кто-то.

— Головой, видать, ударился, — ответил другой. — Про животы спрашивает.

— Ты б лучше спросил, когда жалованье, — крикнул пьяный с арсенала ему вслед. — Сотник! Жалованье когда?!

Макс не обернулся.

Он снова поднялся на стену и долго стоял там, глядя то на двор, то за реку, на степь.

Над степью поднялся ветер. Холодный, весенний, пахнущий талой землёй и чем-то горьким, незнакомым — полынью, может быть. Флаг на башне хлопнул и обвис.

* * *

Ночью он сидел у костра.

Солдаты разожгли его во дворе, у стены третьей казармы, — не для тепла, а по привычке. Они сидели вокруг, человек пятнадцать, передавали по кругу какую-то бурду в котелке, грелись, переругивались. На Макса косились — кто с любопытством, кто с подозрением. Он сидел чуть в стороне, на чурбаке, укутавшись в плащ, который ему принёс беззубый Ганс, и смотрел в огонь.

Он думал о ней.

Он не думал о ней словами. Он вообще редко думал словами. Он думал картинками, как фотографиями из альбома, которые перелистываешь по одной.

Вот она в первый день. Три года назад, сентябрь, жарко. Пришла в новом синем платье, и у неё сломался каблук прямо на входе в бизнес-центр. Она доковыляла до лифта, держа туфлю в руке, и смеялась. Над собой. Громко. Охранник смеялся вместе с ней. Макс стоял у турникета и не смеялся. Он смотрел.

Вот она на корпоративе. Год назад. Все уже пьяные, все танцуют, а она стоит у окна с бокалом и смотрит на город, и лицо у неё такое, будто она ждёт кого-то, кто не придёт.

Вот она плачет. Он не видел, как она плачет, — только слышал. Полгода назад, когда её проект отдали другому. Она пошла в туалет на шестом этаже, где обычно никого не было, а он как раз чинил там кулер, и он слышал сквозь тонкую стенку. Тихо. Почти беззвучно. Минуты три. Потом вода в кране. Потом каблуки по коридору, уверенные, быстрые, как всегда.

Вот кофе. Ореховый сироп, который не значится в меню. Он узнал про него случайно: стоял за ней в очереди в кофейне и услышал, как она просит. Запомнил. С тех пор просил сам. Бариста — Катя, с пирсингом в брови — однажды спросила: «Это для девушки?» Он сказал: «Нет». Катя кивнула и с тех пор, видя его, сразу начинала делать ореховый.

Три года. Около семисот рабочих дней. Он ставил ей кофе, наверное, раз двести. Она кивала. Иногда говорила «спасибо». Один раз — улыбнулась, по-настоящему, глядя прямо на него, и он потом весь вечер не мог работать.

Он ни разу не сказал ей ни слова. Ни одного, кроме «привет» и «пожалуйста».

А теперь она была где-то. Или нигде. Он не знал. Он даже не знал, где он сам.

Огонь треснул и выбросил сноп искр. Кто-то из солдат выругался, отдёрнув ногу.

«Дурак ты, Гордеев, — подумал Макс. — Трус и дурак».

Это было всё. Больше ничего не было. Ни слов, ни слёз. Только огонь, и чужое тело, и боль в груди, которая была не от болта.

* * *

Женя пришла, когда костёр уже прогорел до углей и солдаты разбрелись по казармам. Пришла без корзины — с кружкой в одной руке и листом бумаги в другой.

Села рядом на соседний чурбак. Без спросу. Протянула кружку.

Макс взял. Кружка была глиняная, тяжёлая, горячая. Из неё поднимался пар — пахло травами, мёдом и чем-то крепким.

— Пей, — сказала Женя. — От ран. От бессонницы. От дурости тоже, говорят, помогает.

Макс отпил. Обожгло горло, потом желудок, потом разлилось по всему телу — тяжёлым, сонным теплом.

— Что это?

— Бабкин рецепт. Тебе знать не надо.

Они помолчали. Угли тихо потрескивали. Где-то за стеной, на реке, кричала ночная птица — протяжно, тоскливо, на одной ноте.

— Ты другой стал, — сказала вдруг Женя, глядя в угли.

Макс напрягся. Но лицо, кажется, ничего не выдало, — лицо у него всегда было такое, что ничего не выдавало.

— В смысле?

— В прямом. — Она пожала плечами. — Раньше ты пил. Каждый вечер. С ними. — Кивок в сторону казарм. — Орал. Морды бил. Однажды Ганса с лестницы спустил за то, что тот тебе вино не так налил. А теперь сидишь. Молчишь. Считаешь. — Она покосилась на него. — Я видела, как ты на стене губами шевелил. Считал. Мешки, людей. Как приказчик на ярмарке.

— Это плохо?

Женя долго молчала.

— Не знаю, — сказала она наконец. — Болт тебе, видно, что-то в голове поправил. Посмотрим, надолго ли.

Она развернула лист, который держала в руке, и положила ему на колени.

Это была ведомость. Макс понял это сразу, хотя буквы были незнакомые — понял так же, как понял, что Женя говорит не на русском, хотя он понимал её с первого слова. Столбцы. Строки. Даты. Наименования. Количества. «Мука ржаная — мешков». «Солонина — бочек». «Стрелы — связок». «Жалованье — крон».

Все столбцы, кроме первого — с наименованиями, — были пусты.

Внизу, под таблицей, стояли печать — оттиск какого-то корабля под парусом — и подпись. Размашистая, с завитушками, с длинным хвостом у последней буквы. Под подписью — мелкая приписка: «За казначея порта Мирхейвен — помощник казначея Д. Мелк».

Макс поднёс лист ближе к углям, чтобы разглядеть.

У него была профессиональная болезнь — он всегда смотрел, кто подписал. Не что, не сколько, а кто. Потому что «что» и «сколько» можно было исправить, а «кто» — это был человек, которому потом звонить. Которого ловить в коридоре. Которому смотреть в глаза, когда фура не пришла.

«Д. Мелк», — повторил он про себя и запомнил.

— Это последняя, — сказала Женя. — Которая должна была прийти с осенним обозом. Её прислали заранее, чтоб мы знали, чего ждать. Я её, дура, повесила на стенку в кладовой. Каждое утро на неё смотрела. Думала — вот придёт обоз, отмечу.

— А зимой?

— А зимой я её сняла. — Женя криво усмехнулась. — Ганс на ней рыбу чистил. Потом я отобрала. Не знаю зачем.

— Ты писала в Мирхейвен?

— Я? — Она фыркнула. — Ты писал. Трижды. То есть ты велел, а писарь писал, пока писарь не сбежал. Потом я писала. Каракулями. — Она подняла руку, повертела ею в воздухе.

— Меня отец учил, он кузнецом был, грамоте знал чуть-чуть. Ничего не пришло. Ни ответа, ни обоза. Как в колодец.

— А люди почему не ушли? Совсем? Все?

— Я ж говорю. Некуда.

— А ты?

Женя замолчала. Долго молчала — так долго, что Макс решил, что она не ответит. Ночная птица на реке крикнула ещё раз и затихла. Угли потемнели.

— А я, сотник, тут мужа похоронила, — сказала она наконец. — Вон за той стеной. Три года назад. Куда ж я от него уйду.

Она сказала это так просто, что Макс не нашёлся, что ответить. Он просто кивнул. Она, кажется, этого и ждала — кивка, а не слов. Слова ей, видимо, говорили многие, и все не те.

Потом она снова заговорила — ровно, без всякого предисловия, глядя в угли, как будто говорила о погоде:

— Обоза не было три месяца, сотник. Деньги, говорят, ушли в Мирхейвен. Там их и съели.

# Глава 4

**Рай для ленивых**

Денис проснулся в канаве и сначала решил, что это нормально.

В смысле — не то чтобы он часто просыпался в канавах. Но в двадцать два, на третьем курсе, после дня рождения Пашки Кривошеева, он проснулся в клумбе у памятника Пушкину, в обнимку с гипсовым голубем, которого кто-то отломал с постамента, и это было почти так же. Мокро, холодно, пахнет землёй, голова раскалывается, и первая мысль — «где мой телефон». Вторая — «что я вчера натворил». Третья — «а голубь-то откуда».

Здесь голубя не было. Здесь была рыба.

Пахло рыбой так, будто Денис лежал не в канаве, а внутри рыбы. Тухлой. Давно. Пахло ещё чем-то — мочой, гнилой капустой, дёгтем, мокрым деревом, — но рыба побеждала с огромным отрывом. Денис лежал на спине, в чём-то холодном и жидком, и смотрел в небо — серое, низкое, с мечущимися чайками. Чайки орали. Голова раскалывалась. Во рту был такой привкус, будто он всю ночь жевал старый ботинок.

— Где мой телефон, — прохрипел он.

Голос был чужой. Хриплый, сорванный, ниже, чем у него. Денис отметил это краем сознания и решил, что сорвал вчера, пока орал в караоке «Рюмку водки на столе». Было бы логично.

Рядом что-то шевельнулось. Тень заслонила небо и чаек.

Над ним стояла женщина. Нет — над ним возвышалась женщина. Огромная, как шкаф, как платяной шкаф из бабушкиной квартиры, только в фартуке. Красное лицо, три подбородка, руки толщиной с его бедро, засученные рукава, седые волосы под косынкой. Фартук когда-то был белым. Сейчас он был всех цветов, от бурого до зелёного.

Женщина упёрла руки в бока и посмотрела на Дениса так, как смотрят на таракана, который в третий раз за день вылез из-под плинтуса.

— Опять, — сказала она голосом, от которого задрожали лужи. — Опять, Дионис?! Опять?!

— Я не… — начал Денис.

Договорить он не успел. Женщина нагнулась, схватила его за шиворот — одной рукой, как котёнка, — и рывком вытащила из канавы. Денис повис у неё в кулаке, болтая ногами в воздухе. С него текло.

— Три дня! — гремела женщина, волоча его куда-то по скользкой мостовой. — Три дня тебя нет! Я уж думала, всё — прирезали тебя у «Медного гуся», как Хромого Отто! Думала — всплывёшь в гавани к Равноденствию, раздутый, как жаба! А он — в канаве! Пьяный! Опять! Позорище!

— Подождите, — пискнул Денис, пытаясь поставить ноги на землю. — Гражданочка, подождите, вы меня с кем-то…

— Гражданочка?! — Женщина остановилась и тряхнула его так, что у Дениса клацнули зубы. — Я тебе покажу гражданочку! Я тебе за пятнадцать лет и мать, и отец, и тётка, и нянька, а ты мне — гражданочка?! Ещё раз так назовёшь — в бочку с селёдкой засуну и крышкой прижму!

Она снова потащила его вперёд. Денис перестал сопротивляться и начал смотреть по сторонам.

Улица была узкая и кривая, мощённая неровным булыжником, скользким от грязи и рыбьей чешуи. По обе стороны — дома, высокие, в три-четыре этажа, кривые, налезающие друг на друга, с выступающими верхними этажами, так что небо оставалось только узкой полоской наверху. Деревянные балки поверх штукатурки. Ставни. Вывески на цепях — нарисованные,

без букв: бочка, сапог, рыба, кружка. Под ногами — сточная канава посередине улицы, по которой медленно текло что-то бурое.

Люди. Много людей. Мужчины в широких штанах, заправленных в сапоги, в коротких куртках, в вязаных шапках. Женщины в длинных юбках и платках. Дети — босые, чумазые, шныряющие под ногами. Все кричали. Торговались, ругались, звали друг друга. Кто-то тащил тачку с бочками. Кто-то нёс на плече огромную рыбину, у которой хвост волочился по земле. Где-то звонил колокол.

А за домами, в конце улицы, в просвете, Денис увидел мачты. Много мачт. Лес мачт, качающихся на фоне серого неба, с обвисшими парусами и паутиной канатов.

Порт.

— Ага, — сказал Денис очень тихо. — Ага. Окей.

Он видел такое в кино. «Пираты Карибского моря». Он смотрел все части, кроме последней, потому что на последней уснул.

«Это розыгрыш, — подумал он с надеждой. — Это корпоратив. Это квест. Вадим Петрович решил нас сплотить после тендера. Сейчас из-за угла выскочит аниматор в треуголке и скажет: "Йо-хо-хо, господа менеджеры, ваша задача — найти сокровище"».

Из-за угла выскочил не аниматор. Выскочила свинья. Огромная, грязная, со злыми глазками. Пробежала мимо, задев Дениса боком, и скрылась в переулке. За ней с криком промчался мальчишка с палкой.

Денис посмотрел ей вслед.

«Нет, — понял он. — Вадим Петрович на свинью не раскошелился бы».

* * *

Таверна называлась «Кривой якорь». Это Денис понял по вывеске — на ней был нарисован якорь, действительно кривой, с одной лапой короче другой, будто художник рисовал его после третьей кружки.

Внутри было темно, дымно и тепло. Низкий потолок с закопчёнными балками. Длинные столы, лавки. Огромный очаг в дальней стене, в котором на цепи висел котёл размером с ванну. Из котла пахло — и Денис вдруг понял, что хочет есть так, как не хотел никогда в жизни. Так, что свело желудок. Так, что закружилась голова.

Женщина — её, как выяснилось, звали матушка Бертольда, и она была хозяйкой этого места — швырнула его на лавку у стены, ушла к очагу и вернулась с деревянной миской, полной до краёв. Шмякнула перед ним. Сунула в руку деревянную ложку.

— Жри, — сказала она. — Потом поговорим.

В миске была похлёбка. Густая, бурая, с плавающими кусками рыбы, луком, какой-то крупой, чем-то вроде брюквы. Жирная. Горячая. Пахнущая так, что у Дениса потекли слюни.

Он схватил ложку.

И тут заметил их.

Они сидели на соседней лавке, в углу, у самого очага. Четверо. Нет — пятеро, один совсем маленький, лет четырёх, прятался за спинами остальных. Дети. Оборванные, грязные, в каких-то немыслимых лохмотьях, перевязанных верёвками. Тощие — такие тощие, что под кожей проступали все косточки, как у голодных котят. У старшего, лет одиннадцати, была рассечена бровь. У девочки с косичками — босые ноги, синие от холода.

Перед ними на столе ничего не было.

Они не просили. Они просто смотрели. На его миску. Неотрывно, молча, не мигая, как смотрят собаки у мясной лавки, давно уже понявшие, что им ничего не дадут, и всё равно смотрящие, потому что не смотреть невозможно.

Денис замер с ложкой в руке.

«Не моя проблема, — сказал он себе. — Вообще не моя. Я голодный. Я сам не знаю, где я. Я, может, умер. Это местные дети, у них есть родители, у них есть… кто-нибудь. Есть социальные службы. Наверное. Кто-нибудь же должен…»

Девочка с косичками сглотнула. Он видел, как дёрнулось её горло.

Денис подумал о холодильнике.

Он не хотел о нём думать. Он двадцать лет о нём не думал. Белый, старый, «Саратов», с отбитой эмалью на дверце и магнитом в форме клубники. Пустой. Совсем пустой — только банка горчицы, засохшей, и полпачки маргарина. Денису восемь лет. Отец лежит на диване в комнате и храпит. Мама ушла полгода назад и не вернулась. Денис стоит перед открытым холодильником и смотрит в эту белую пустоту, и ему кажется, что холодильник смотрит на него. И что пустота — это навсегда.

Он оторвал взгляд от детей. Посмотрел на миску. Встал — неловко, задев лавку коленом. И молча поставил миску перед девочкой с косичками.

Он сам не понял, как это вышло. Руки сделали это до того, как голова успела возразить.

Дети не набросились на еду. Это было самое страшное — они не набросились. Старший, с рассечённой бровью, посмотрел на Дениса долгим, подозрительным, совсем не детским взглядом — что ему за это будет? что он потребует? — а потом взял ложку и аккуратно, по очереди, начал кормить младших. Сначала самого маленького. Потом девочку. Потом остальных. Себе — последнему.

Денис сел обратно на лавку. Посмотрел на свои пустые руки.

— Ну ты даёшь, — сказал он себе вполголоса. — Ну ты, Ушаков, даёшь.

За его спиной кто-то тяжело вздохнул. Он обернулся. Матушка Бертольда стояла у очага с половником в руке и смотрела на него. Странно смотрела. Не сердито. Скорее так, как будто впервые его увидела.

Потом она молча зачерпнула из котла ещё одну миску, принесла и поставила перед ним.

— Жри, говорю, — буркнула она. — И ты, и они. Котёл большой.

И отвернулась. Но Денис успел заметить, что глаза у неё блестели.

* * *

Через час он знал всё, что нужно.

Это был его талант — не самый благородный, но полезный. Денис умел разговорить кого угодно. Таксиста, бабушку в очереди, охранника на проходной, секретаршу генерального. Он задавал правильные вопросы, правильно кивал, вовремя шутил, и люди сами рассказывали ему всё — даже то, что не собирались. На этом таланте он сделал карьеру закупщика: поставщики сливали ему цены конкурентов, потому что он им нравился.

Матушка Бертольда сливала ему его собственную жизнь. Не подозревая, что он её не помнит. Он говорил: «Бертольда, ну ты ж знаешь, как я тебя люблю», — и она, ворча, рассказывала, за что именно его не стоит любить.

Звали его — то есть того, в чьём теле он оказался, — Дионис Мелк. Двадцать пять лет. Сирота. Бертольда подобрала его десятилетним на пристани: он воровал рыбу с лотков, и его били. Вырастила. Отдала в учение к писарю, потому что парень был «башковитый, считать умел, как чёрт». Потом писарь пристроил его в казначейство порта. Помощником казначея. Это было место хорошее, денежное, и Дионис мог бы жить как человек, но пил. Пил, играл в кости, водился с «кем ни попадя», трижды попадал в долговую яму, дважды Бертольда его выкупала.

— Три дня назад, — сказала она мрачно, вытирая стол, — ты опять у «Медного гуся» в кости играл. С Хромым Гюнтером. Выиграл, говорят. А потом подрались. Кто-то тебя по голове бутылкой — и в канаву. Я думала — всё. Отплясался.

Денис осторожно потрогал затылок. Там была шишка — огромная, с куриное яйцо, с коркой засохшей крови.

«А он и отплясался, — подумал он. — Тот, Дионис. А я вместо него».

Мысль была дикая, но почему-то не страшная. Может, потому, что у Дениса было похмелье, и все мысли были дикие. Может, потому, что похлёбка была вкусная, и в очаге трещал огонь, и дети в углу спали вповалку, сытые, прижавшись друг к другу, как щенки. А может, потому, что в прошлой жизни у Дениса Ушакова тоже не было ничего такого, о чём стоило бы плакать. Съёмная двушка. Кредит на машину. Три девушки, с которыми он «не определился», и ни одна из них, если честно, не заметит, что он исчез, — разве что та, которой он должен пять тысяч.

— Бертольда, — сказал он. — А в казначейство мне сегодня надо?

Бертольда уронила тряпку.

— Матерь Света, — сказала она. — Он про работу спрашивает. Неужто правда головой ударился?

* * *

Казначейство порта Мирхейвен располагалось в старом каменном здании у самой гавани — двухэтажном, с узкими окнами, с колоннами у входа, облупленными и позеленевшими от сырости. Над дверью висел герб: корабль под парусом, а над ним — корона. Внутри пахло пылью, сургучом, плесенью и старой бумагой.

Денису этот запах понравился сразу. Так пахли архивы. А там, где есть архивы, — есть бумаги. А там, где есть бумаги, — есть дыры.

Он поднялся на второй этаж. Нашёл кабинет — табличка «Казначей» на двери, дверь приоткрыта. Заглянул.

Кабинет был огромный и захламлённый до потолка. Шкафы вдоль стен — высокие, тёмного дерева, с застеклёнными дверцами, за которыми громоздились стопки книг, свитков, папок. На полу — тоже стопки. На подоконниках — стопки. На стульях — стопки. Посреди всего этого, за огромным письменным столом, заваленным бумагами так, что из-за них торчала только макушка, сидел человек.

Человек спал.

Он был толстый, лысый, в бархатном камзоле, расшитом серебром, с тяжёлой цепью на груди. Голова его лежала на раскрытой книге, рот был открыт, и из него вырывался тоненький, мелодичный свист. На кончике носа висели очки.

— Э-э, — сказал Денис. — Доброе утро.

Человек вздрогнул, всхрапнул и сел. Очки упали ему на колени. Он нашарил их, нацепил и уставился на Дениса мутными голубыми глазками.

— А? Что? Мелк? — Он моргнул. — Мелк! Ты где был? Три дня! Тут отчёт… тут, понимаешь, отчёт для канцелярии… — Он зашарил руками по столу, сдвигая бумаги. — Где-то тут… Ну, неважно. Найдёшь. Ты всегда находишь. — Он с облегчением откинулся в кресле. — Хорошо, что ты вернулся, Мелк. Без тебя я, знаешь, как без рук. Без рук и без головы.

Это был казначей Балтазар. Денис узнал это из таблички и из того, как тот подписал первую же бумагу, которую Денис ему подсунул, — для проверки: «Балтазар, казначей порта». Подписал не глядя. Обмакнул перо, черкнул, посыпал песком. Даже не спросил, что это.

Это была просьба о выделении дополнительной свечи для кабинета помощника казначея. Денис написал её прямо тут же, на краю стола, чужим почерком, который его рука почему-то знала. И Балтазар подписал.

Денис вышел из кабинета казначея, прикрыл за собой дверь и постоял в коридоре, переваривая.

Потом нашёл свой кабинет — маленький, напротив, с одним окном на гавань и одним столом. На столе — книги. Огромные, в кожаных переплётах, с медными застёжками. Гроссбухи. Денис сел, раскрыл первый и начал листать.

Сначала — в ужасе.

Потому что это был не учёт. Это было стихийное бедствие. Записи велись то одним почерком, то другим, то третьим. Суммы не сходились. Даты прыгали. Половина страниц была исписана, половина — пуста, на некоторых — пятна вина, на одной — отпечаток жирной ладони. Приход. Расход. Пошлины. Подати. Снабжение. Жалованье. Всё вперемешку, без разделов, без итогов, без проверки.

Потом — в недоумении.

Потому что он полистал ещё. И ещё. И понял, что никто — вообще никто — это не проверяет. Ни разу, ни на одной странице, не было ни подписи ревизора, ни пометки «сверено», ни хотя бы галочки на полях. Только корявая подпись Балтазара внизу каждой страницы, поставленная, очевидно, не глядя, — на одной странице она стояла поверх пятна, на другой — вверх ногами.

Потом — в восторге.

Денис откинулся на спинку стула. Посмотрел в потолок — пыльный, с паутиной в углах. Потом снова на книги. Потом снова в потолок.

Он восемь лет работал в закупках. Он знал все схемы, какие только существуют: откаты, распилы, завышение цен, фиктивные поставщики, двойные накладные, мёртвые души в ведомостях. Он знал, как они работают. Он знал, как их прячут. Он знал, почему их находят. Их находят, потому что есть аудит. Есть внутренний контроль. Есть служба безопасности. Есть электронный документооборот, в котором каждое изменение оставляет след. Есть, в конце концов, бухгалтерия, в которой сидит Людмила Аркадьевна, пятьдесят восемь лет, которая сверяет каждую копейку, потому что больше в жизни ей сверять нечего.

Здесь не было Людмилы Аркадьевны. Здесь был Балтазар, который спал на гроссбухе и подписывал просьбы о свечах вверх ногами.

— Я умер, — сказал Денис вслух, тихо, с благоговением. — Я умер и попал в рай. В рай для закупщиков.

* * *

Он нашёл её через полчаса.

Статья называлась «Снабжение гарнизона Вороний Брод». Целый раздел в третьей книге — несколько десятков страниц. Денис пролистал их, сначала быстро, потом медленнее.

Вороний Брод — крепость где-то на южной границе. Гарнизон — двести человек, по бумагам. Снабжение — раз в квартал, обозом. Мука, солонина, пиво, сукно, сапоги, стрелы, жалованье. Деньги выделяет королевская казна, через канцелярию, на казначейство порта, потому что обоз формируется в Мирхейвене. Казначейство закупает, грузит, отправляет.

Деньги шли через его руки. Через руки помощника казначея Д. Мелка. Его подпись стояла под каждой ведомостью — размашистая, с завитушками, с длинным хвостом у последней буквы. Над его подписью стояла подпись Балтазара — кривая, не глядя.

И никто не проверял.

Денис полистал назад. Последний обоз ушёл осенью — и, судя по записям, ушёл не полностью. Половина муки «списана как подмоченная». Сапоги «не поставлены по вине поставщика». Жалованье «задержано до распоряжения». Сукно — вообще прочерк. А деньги на всё это выделены и получены. Вот расписка в получении из канцелярии. Вот она, сумма, круглая и красивая.

А дальше — ничего. Зимнего обоза не было. Ни записи, ни ведомости. Только приход денег из канцелярии — а расхода нет.

Денис понял. Дионис Мелк, его предшественник в этом теле, уже воровал. Воровал неумело, грубо, по-глупому — так, что дыру видно невооружённым глазом. Видно любому, кто откроет книгу. Но никто не открывал.

Денис посмотрел на столбец с суммой. Это были большие деньги. Он ещё не понимал, сколько здесь стоит одна золотая крона, но по тому, как благоговейно Бертольда говорила о «серебрушке», понял, что крона — это много. А здесь были сотни крон.

Он колебался ровно три секунды.

Первая секунда — голос где-то внутри, тихий и неуверенный, сказал: «Это гарнизон. Двести человек. Солдаты. Им это есть». Денис ответил голосу: «Двести на бумаге. Ты видел эти бумаги. Там и двадцати может не быть».

Вторая секунда — он подумал о детях в «Кривом якоре». О девочке с синими ногами. О том, как старший кормил младших — себе последнему.

Третья секунда — он подумал о холодильнике. Белом, пустом, с магнитом в форме клубники.

И о том, что он больше никогда, никогда, никогда в жизни не будет стоять перед пустым холодильником.

Денис взял перо. Обмакнул в чернильницу. Перо было гусиное, плохо очиненное, и в первый раз он поставил кляксу. Выругался. Взял чистый лист.

Первая ведомость. Его собственная. Не много — совсем чуть-чуть. Просто чтобы проверить. «На закупку сукна для гарнизона Вороний Брод, в счёт весеннего обоза — тридцать крон». Поставщик — какая-то «лавка Хорста на Медной улице», название он выдумал на ходу. Получатель — он сам, по доверенности. Перо скрипело. Почерк выходил чужой, но ровный — рука помнила то, чего не помнила голова.

Он отнёс ведомость в кабинет напротив.

Балтазар не спал. Балтазар ел пирожок с капустой, роняя крошки на гроссбух.

— А, Мелк, — сказал он с набитым ртом. — Что там у тебя?

— Сукно для Брода, ваша милость. Весенний обоз.

— Сукно, — кивнул Балтазар. — Да. Сукно — это хорошо. Солдатам нужно сукно.

Он вытер пальцы о камзол, взял перо и подписал. Не читая. Даже не взглянув на сумму. Посыпал песком, подул и протянул обратно.

— Ты молодец, Мелк, — сказал он. — Хорошо, что ты вернулся.

Денис вернулся к себе. Сел за стол. Положил подписанную ведомость перед собой и долго на неё смотрел.

Потом откинулся в кресле. Закинул руки за голову. Посмотрел на пыльный потолок, на паутину, на медленно кружащую в солнечном луче пылинку. За окном кричали чайки, скрипели мачты, кто-то внизу, на пристани, орал на грузчиков, уронивших бочку.

И впервые за этот безумный, вонючий, невозможный день Денис Ушаков улыбнулся. Широко, довольно, той самой улыбкой, от которой таяли поставщики и секретарши.

— Ну, — сказал он потолку. — Ну, здравствуй, новая жизнь.

# Глава 5

**Сыр, которого нет**

На шестое утро Аня встала.

Пять дней перед этим она пролежала в постели — не потому, что хотела, а потому, что тело не давало иначе. Оно было слабым, как новорождённый котёнок. Стоило сесть — кружилась голова. Стоило встать — подгибались колени. На второй день она попыталась дойти до окна и рухнула на полпути, и Мирра потом полдня рыдала и молилась, а дворецкий Гудрик стоял в дверях с таким лицом, будто это она нарочно, назло ему. На третий день Аня поняла, что тело просто голодное. Не больное — голодное. Оно, это девятнадцатилетнее тело, не ело как следует, наверное, с прошлой осени.

Её кормили молоком, жидкой овсянкой, хлебом и яйцами. Яйца, как выяснилось, были от последних шести кур, и каждое Мирра приносила, как драгоценность, завернув в тряпочку. На четвёртый день Аня спросила, что едят остальные — Марта, Гудрик, сама Мирра. Мирра покраснела и сказала, что они уже поели. Аня не поверила. На пятый день она отказалась от яйца, пока Мирра не съест половину при ней. Мирра плакала, ела и смеялась одновременно, и это было так похоже на первое утро, что Аня тоже засмеялась.

А на шестое утро она проснулась на рассвете — от петуха, от холода, от света в окне — и поняла, что может встать. И встала.

Голова не закружилась. Колени не подогнулись. Она дошла до окна, распахнула скрипучую раму со свинцовыми ромбиками и впервые как следует посмотрела на свои владения.

Сто дней минус пять — девяносто пять.

— Ну что ж, — сказала она вслух. — Давай знакомиться.

* * *

Знакомство началось с сапог.

Платьев у баронессы фон Тиль оказалось три: серое шерстяное, коричневое шерстяное и чёрное траурное, которое она носила с похорон отца. Все три — штопаные, все три — на два размера больше, чем нужно похудевшему телу, все три — длинные, до пят, с подолом, который волочился по полу и собирал пыль. Туфель — одна пара. Тонких, матерчатых, с вышивкой, совершенно непригодных ни для чего, кроме паркета.

Паркета в доме не было. Был каменный пол, и за стенами дома была весна. Ранняя, грязная, распутица.

— Мирра, — сказала Аня, разглядывая туфли, — а в чём здесь ходят по двору?

— В сапогах, госпожа, — удивилась Мирра. — Кто ходит.

— А у меня есть сапоги?

Мирра подумала.

— Были у батюшки вашего. Охотничьи. Да их люди маркграфа описали. Хорошие сапоги были, кожа — во! — Она показала руками что-то размером с телёнка. — А больше… Больше, госпожа, вы по двору и не ходили.

— Никогда?

— Ну… — Мирра замялась. — В сад ходили. По дорожке. А во двор — зачем? Там же навоз.

Аня посмотрела в окно. Там действительно был навоз — и грязь, и лужи, и куры, и тощая собака у ворот, и какие-то люди у дальнего сарая. Там была её земля. Её дедлайн. Её девяносто пять дней.

— Найди мне сапоги, Мирра, — сказала она. — Любые. Хоть какие.

Сапоги нашлись у Гудрика.

Дворецкий явился с ними через полчаса — с лицом человека, которого заставили принести на блюде собственную голову. Это был высокий, сухой, как жердь, старик лет семидесяти, прямой, как будто проглотил кочергу, с длинным лошадиным лицом, редкими седыми волосами, аккуратно зачёсанными назад, и бровями, которые жили своей собственной жизнью: они ползли вверх, когда он удивлялся, и сходились в одну густую линию, когда сердился. Сейчас они сходились. На нём была ливрея — когда-то, видимо, тёмно-зелёная, с серебряными пуговицами, а теперь выцветшая до болотного цвета, с медными пуговицами вместо серебряных, но вычищенная и отглаженная безупречно.

Сапоги он держал на вытянутых руках, двумя пальцами, как дохлую крысу.

— Мои, ваша милость, — сказал он голосом, в котором было всё неодобрение мира. — Старые. Для сада. Я в них розы обрезал, когда у нас ещё были розы. Ваша милость, разумеется, не станет…

— Стану, — сказала Аня и протянула руки. — Спасибо, Гудрик.

Брови взлетели вверх. Потом медленно опустились.

Сапоги были огромные. Растоптанные, разношенные, с потрескавшейся кожей и залатанными голенищами. Аня надела их на две пары шерстяных чулок и подвязала у колена лентами из своих волос. Подол серого платья заправила за пояс, чтобы не волочился. Волосы заплела в косу и убрала под платок — один из Мирриных, в мелкий синий цветочек.

Посмотрела в маленькое матушкино зеркало.

Из зеркала смотрела деревенская девчонка в огромных сапогах. Тощая, бледная, с медными прядями из-под платка, в платье, заправленном за пояс, как у прачки. Совершенно не похожая на баронессу. Совершенно не похожая на Анну Сергеевну Миронову, маркетолога, которая носила костюмы цвета «пыльная роза» и туфли на шпильке, потому что на каблуках её слушали внимательнее.

— Красота, — сказала Аня. — Мирра, пошли.

Гудрик смотрел им вслед с крыльца, и его брови сходились всё теснее, пока совсем не слились в одну.

* * *

Она обошла имение за два часа.

Это было не имение. Это было то, что от имения осталось, — как кости от рыбы.

Дом — двухэтажный, каменный, с островерхой черепичной крышей и одной круглой башенкой на углу, — когда-то, наверное, был красивым. Сейчас черепица местами осыпалась, и на чердак, как сказала Мирра, при дожде «льёт, как из ведра, мы туда тазы ставим». Половина окон второго этажа заколочена досками: стёкла побились, а новых не было. Из четырёх труб дымила одна — кухонная. Плющ, когда-то, видимо, декоративный, теперь затянул всю северную стену и залез в окна.

Ворота висели на одной петле. Вторая проржавела и отвалилась ещё два года назад — Мирра точно помнила, потому что в тот день барон въехал в ворота пьяный и снёс створку телегой. Створку с тех пор подпирали колом.

Сад — заросший, заброшенный, с одичавшими яблонями, с бурьяном по пояс, с покосившейся беседкой, в которой гнездились вороны. Аня остановилась у беседки. На резном столбике кто-то давным-давно вырезал ножом две буквы, переплетённые, и сердечко. Буквы почти стёрлись.

— Это кто? — спросила она.

— Не знаю, госпожа, — сказала Мирра. — Это давно. Ещё до меня.

Аня провела пальцем по сердечку и пошла дальше.

Хозяйственный двор — большой, грязный, с лужами, в которых отражалось серое небо. Амбар — пустой. Совсем пустой: Аня заглянула внутрь и увидела только паутину, мышиный

помёт и одинокий мешок в углу, на котором сидела кошка. Мешок, как выяснилось, был с отрубями. Кошка — ничья, «сама пришла».

Конюшня — тоже пустая. Последних двух лошадей увели люди маркграфа. Остался только старый мерин по кличке Дюк, слепой на один глаз, который, по словам Мирры, «уже лет десять никуда не ездит, а только ест и думает».

— О чём думает? — спросила Аня, глядя на мерина. Мерин посмотрел на неё единственным глазом — печальным, мудрым, с длинными седыми ресницами.

— А кто ж его знает, госпожа. О своём.

— Хороший, — сказала Аня и погладила его по морде. Морда была тёплая и бархатная. Дюк вздохнул ей в ладонь и закрыл глаз.

Коровник был в самом конце двора — длинный, низкий, крытый соломой, с покосившимися стенами и дверью, которая не закрывалась до конца.

У двери стоял Гудрик.

Он, оказывается, шёл за ними всё это время — в отдалении, шагах в двадцати, не приближаясь и не отставая, как тень. Сейчас он стоял у коровника, загораживая дверь, прямой, как кочерга, с поджатыми губами.

— Ваша милость, — сказал он. — Покойный барон в коровник не ходил.

— А я пойду, — сказала Аня.

— Покойная баронесса, ваша матушка, — продолжил Гудрик, будто не слыша, — в коровник не ходила. Покойная старая баронесса, ваша бабушка, — тут его голос чуть дрогнул, совсем чуть-чуть, — ходила, ваша милость. Но то была старая баронесса. Она многое делала, чего не следует делать даме.

— Например?

Гудрик помолчал. Брови его шевельнулись.

— Например, она доила коров, ваша милость. Сама.

— Отлично, — сказала Аня. — Значит, у меня есть прецедент. Пропустите, Гудрик.

Он не двинулся.

Они стояли друг против друга — тощая девчонка в его старых сапогах и старик в выцветшей ливрее, — и смотрели друг другу в глаза. Мирра за спиной у Ани перестала дышать.

— Гудрик, — сказала Аня мягко. — Мне нужно знать, что у меня есть. Всё, до последней курицы. Иначе я не смогу ничего сделать. А если я ничего не сделаю, через девяносто пять дней здесь будут хозяйничать люди маркграфа. И они пойдут в коровник. И посчитают коров. И заберут. — Она помолчала. — Лучше уж я посчитаю первой.

Гудрик долго смотрел на неё. Потом медленно, с достоинством, отступил на шаг в сторону.

— Как будет угодно вашей милости, — сказал он. — Но я предупредил.

Он не сказал, о чём. Аня поняла сама, как только переступила порог.

Вонь.

Её ударило в лицо, как мокрым полотенцем. Навоз — свежий и старый, перепревший, ядрёный. Моча. Прелая солома. Кислое молоко. Что-то сладковато-гнилостное. Глаза защипало сразу. Аня закашлялась, прижала ладонь к носу и чуть не выскочила обратно.

Не выскочила.

Постояла, привыкая. Проморгалась. В коровнике было полутемно, свет проникал только сквозь щели в стенах и через дверь. Стойла тянулись вдоль одной стены — двенадцать стойл, из них занятых три.

Три коровы. Тощие, с выпирающими рёбрами и маклаками, похожими на вешалки. Бурая, пёстрая и чёрная с белым пятном на лбу. Они стояли по колено в навозе и равнодушно жевали солому — старую, серую, явно не первой свежести. В углу, отдельно, на привязи, — коза. Белая, с бородкой и жёлтыми злыми глазами, с одним обломанным рогом.

— Это всё? — спросила Аня.

— Всё, госпожа, — шепнула Мирра из-за спины. — Было восемь. Батюшка ваш продал. Люди маркграфа хотели забрать и этих, да Гудрик сказал, что тогда мы с голоду помрём к Равноденствию, и они оставили. Сказали — пока.

— Как их зовут?

Мирра удивилась.

— Коров? Ну… Бурёнка. Пеструшка. Чернушка.

— А козу?

— Козу, госпожа, все зовут Ведьма. — Мирра понизила голос. — Она кусается.

— Понятно, — сказала Аня. И шагнула в проход между стойлами.

Навоз чавкнул под сапогом. Сапог ушёл по щиколотку. Аня вытащила его — с хлюпаньем, с трудом — и шагнула снова. Ещё раз. Ещё. Дошла до первой коровы. Бурёнки. Остановилась.

Бурёнка повернула голову и посмотрела на неё огромными тёмными глазами. Глаза были влажные, с длинными ресницами, и в них было столько коровьей печали и коровьего терпения, что у Ани вдруг защипало в носу — уже не от вони.

— Привет, — сказала она корове. — Я новая хозяйка. Ты меня, наверное, не помнишь. Я тебя тоже. Будем знакомиться заново.

Она протянула руку. Бурёнка обнюхала её — шумно, мокро, — подумала и лизнула. Язык был шершавый, как наждачка, и тёплый.

Аня засмеялась.

И тут сзади раздался звук — короткий, мекающий, злорадный, — и что-то со всей силы ударило её под коленку. Аня взмахнула руками, поскользнулась и, не успев даже вскрикнуть, села.

Прямо в навоз.

Ведьма, которая каким-то образом отвязалась, стояла рядом и смотрела на неё жёлтыми глазами с выражением глубочайшего удовлетворения.

Несколько секунд в коровнике было тихо. Аня сидела в навозе. Навоз медленно пропитывал серое шерстяное платье и две пары шерстяных чулок. Бурёнка жевала. Ведьма мекнула ещё раз, коротко, будто ставя точку.

А потом Мирра захохотала.

Она стояла в дверях, согнувшись пополам, и хохотала так, что тряслись плечи и съезжал чепец. Пыталась зажать рот ладонью — и не могла. Пыталась сказать «простите, госпожа» — и не могла, только хрюкала и всхлипывала. Слёзы текли у неё по щекам. Она сползла по косяку и села на порог.

Аня посмотрела на неё. Потом на козу. Потом на своё платье.

И тоже захохотала.

Она сидела в навозе, в огромных сапогах дворецкого, в платке в синий цветочек, и смеялась — до икоты, до колик, до слёз, — так, как не смеялась, наверное, с детства. С того лета на даче, когда они с мамой полезли за малиной и обе свалились в крапиву. Смеялась, и это было как прорвавшаяся плотина: все пять дней страха, растерянности, ночных слёз в подушку, когда Мирра не слышала, — всё выходило со смехом.

Когда она наконец отдышалась и подняла голову, в дверях коровника стояли люди.

Человек десять. Крестьяне — те, что были у дальнего сарая. Мужчины в серых рубахах и широких штанах, женщины в платках, двое ребятишек. Они стояли за спиной у сидящей Мирры и смотрели на баронессу в навозе. Молча. С открытыми ртами.

Аня вытерла глаза тыльной стороной ладони — и, кажется, размазала по лицу то, что было на ладони. Поднялась. С трудом, держась за перегородку стойла. Встала, вся в навозе с пояса до пят. Отряхнула руки — бесполезно — и посмотрела на крестьян.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я тут знакомлюсь. Коза, как видите, уже со мной познакомилась.

Тишина.

Потом кто-то в задних рядах хмыкнул. Потом пожилая женщина в сером платке — с лицом, похожим на печёное яблоко, — прикрыла рот рукой, и плечи у неё затряслись. Потом засмеялся мальчишка лет восьми, звонко, без стеснения, показывая пальцем на козу. Потом здоровенный рыжебородый мужик гулко, как из бочки, хохотнул и тут же закашлялся, чтобы скрыть.

— Ведьма-то, — сказал он, утирая бороду. — Ведьма-то, а? Она и барона покойного однажды так. Только он не смеялся. Он её пристрелить велел. Да Гудрик спрятал.

— Правда? — Аня обернулась к козе. — Ах ты, моя хорошая. Значит, у нас с тобой давние счёты с этой семьёй?

Ведьма мекнула.

Тут засмеялись все — уже открыто, громко, переглядываясь, толкая друг друга локтями. Не над ней — Аня это чувствовала. С ней. Это было разное. Этой разнице её научили на тренингах по публичным выступлениям, и сейчас она чувствовала её всей кожей: люди смеялись с ней.

Где-то позади всех, за спинами крестьян, стоял Гудрик. Он не смеялся. Но брови у него впервые за всё утро разошлись в разные стороны и замерли на месте.

* * *

Совет собрали на кухне.

Это была идея Ани, и Гудрик её не одобрил. Совет, сказал он, собирают в зале. В зале покойный барон собирал совет. В зале покойный дед барона собирал совет. В зале висят портреты предков и стоит кресло с гербом.

— А в зале холодно? — спросила Аня.

Гудрик помолчал.

— В зале холодно, ваша милость. Дров нет.

— А на кухне?

— На кухне, ваша милость, — признал он со страданием, — тепло. Марта топит. Для хлеба.

— Значит, на кухне, — сказала Аня.

Кухня была единственным по-настоящему живым местом в доме. Большая, низкая, со сводчатым потолком, закопчённым до черноты. Огромная печь в одной стене — с лежанкой наверху, с медными котлами, с чугунками. Длинный выскобленный стол посередине. Связки лука и чеснока под потолком. Пучки сушёных трав. Полки с глиняными горшками. Запах хлеба — настоящего, ржаного, на закваске, — от которого у Ани заурчало в животе, несмотря на всю похлёбку, съеденную после коровника.

После коровника её отмывали час. В бадье, на этой самой кухне, за ширмой, потому что воду грели здесь же, а таскать вёдра наверх было некому. Марта — кухарка, низенькая, круглая, как колобок, лет шестидесяти, с огромными красными руками и глухая на правое ухо, так что с ней говорили, заходя слева, — тёрла ей спину мочалкой из лыка и всё время ворчала, что «старая госпожа тоже вот так, бывало, из коровника вся в… простите, ваша милость… приходила, и ничего, жила до семидесяти». Это было уже второе упоминание старой госпожи за утро. Аня запомнила.

Теперь, отмытая, в коричневом платье и снова в сапогах Гудрика — уже вычищенных, — она сидела во главе кухонного стола. Перед ней сидели: Гудрик — с поджатыми губами, будто его посадили на совет против воли. Мирра — с горящими глазами, ёрзающая на лавке. Марта — с полотенцем на плече, развернувшаяся к Ане левым ухом. И трое крестьян, которых Аня попросила позвать, — «самых толковых, кого в деревне слушают».

Самых толковых оказалось: рыжебородый мужик из коровника — его звали Бенедикт, он был старостой; та самая пожилая женщина с лицом, как печёное яблоко, — её звали Грета, она была повитухой, знахаркой и, судя по тому, как на неё косился Бенедикт, главной в деревне на самом деле; и молодой парень лет двадцати, худой, вихрастый, с очень внимательными глазами — Ханс, муж той самой Ханны, у которой в Сретение родилась двойня. Ханс сидел на краешке лавки, мял в руках шапку и смотрел на баронессу так, будто она могла в любую минуту превратиться в дракона.

— Итак, — сказала Аня. — Давайте поговорим о том, что у нас есть.

Молчание.

— Что умеет эта земля? — попробовала она по-другому. — Что здесь растёт? Что здесь делают? Чем живут?

Бенедикт почесал бороду.

— Овцы, ваша милость, — сказал он наконец. — Овцы пасутся. На холмах.

— Сколько?

— Голов сорок. Деревенских. Барских-то нет, барон продал.

— Хорошо. Что ещё?

— Молоко, — сказала Грета. — Коровы, козы. У кого есть.

— Что ещё?

Молчание. Ханс открыл было рот — и закрыл.

— Бедность, ваша милость, — сказал Бенедикт мрачно. — Бедность здесь растёт. Её много.

Мирра хихикнула и тут же испуганно прикрыла рот. Гудрик бросил на неё взгляд, от которого скисло бы молоко.

Аня кивнула. Она ожидала этого. На всех первых встречах с клиентами было так: «Что у вас есть?» — «Ничего». А потом начинаешь копать — и выясняется, что есть склад, и есть грузовики, и есть два человека, которые знают все дороги в области, и бабушка в бухгалтерии, которая двадцать лет ведёт базу постоянных клиентов в тетрадке. Надо просто правильно спрашивать.

Она огляделась. Взяла из печи головешку — обугленную, остывшую с одного конца. Повернулась к столу. Стол был длинный, светлый, выскобленный до белизны. Отличная доска.

И начала рисовать.

Прямоугольник. Разделить крестом на четыре части. В левой верхней — большая буква. В правой верхней — другая. Внизу — ещё две. Так она делала сотню раз: на маркерных досках, на флипчартах, на салфетках в кафе. SWOT. Сильные стороны, слабые, возможности, угрозы.

— Смотрите, — сказала она. — Вот здесь мы напишем…

Она подняла голову — и замолчала.

Все пятеро смотрели на стол с ужасом.

Марта прижимала полотенце к груди. Мирра побелела. Ханс отъехал на лавке к самому краю. Бенедикт медленно, торжественно поднял руку и коснулся лба, сердца и губ — круг Матери Света. За ним — Грета. За ней — Марта. Мирра делала круг дважды, быстро, бормоча что-то себе под нос.

Аня посмотрела на свой рисунок. Прямоугольник, крест, четыре незнакомые для них буквы — латинские, ведь она по привычке начала писать «S», «W», «O», «T». Чёрным углём. На столе. В доме, где пять дней назад девушка лежала при смерти, а потом встала.

— О господи, — сказала она. — То есть — о Матерь Света. Нет. Нет-нет-нет. Это не… Это не колдовство. Честное слово. Это… — Она лихорадочно соображала. — Это такой… способ считать. Бабушкин. Старая баронесса меня научила. Когда я была маленькая. Вот.

Повисла пауза.

Гудрик кашлянул.

— Старая госпожа, — сказал он медленно, своим неодобрительным голосом, — действительно рисовала что-то на столе. Углём. Когда считала, сколько сыра отправить на ярмарку. — Он помолчал. — Квадраты рисовала. Точно. Покойный барон за это её ведьмой звал.

Все посмотрели на Гудрика. Гудрик смотрел в стол.

Аня не знала, правда это или нет. Гудрик сказал это ровно, без выражения, как говорят чистую правду — или как говорит очень хороший дворецкий, который понимает, что сейчас надо сказать. Она посмотрела на него с благодарностью. Он не поднял глаз.

— Ну, — неуверенно сказал Бенедикт, опуская руку. — Ну, раз старая госпожа…

— Старая госпожа, — убеждённо сказала Грета, — была великого ума женщина. Мне ещё бабка моя говорила.

— Вот, — сказала Аня. — Вот именно. Давайте я буду рисовать не буквы, а картинки. Вот здесь, в первом квадрате, будет то, что у нас хорошо. — Она стёрла «S» рукавом и нарисовала солнышко. — Здесь — что плохо. — Тучка. — Здесь — что может стать хорошо. — Росток. — А здесь — чего бояться. — Подумав, она нарисовала волчью голову. Ну, попыталась. Получилось что-то среднее между волком и ежом.

— Маркграф, — сказал вдруг Ханс тихо.

Все посмотрели на него. Он покраснел до ушей, но не отвёл глаз.

— Это маркграф, ваша милость. Волк. Его бояться надо.

— Да, — сказала Аня. — Правильно, Ханс. Его. Ну, давайте с хорошего.

Начали с хорошего.

Сначала было тяжело — как вытаскивать гвозди из старой доски. Потом пошло. Овцы — хорошо: шерсть, мясо, молоко. Холмы — хорошо: трава, много травы. Травы на холмах — хорошо: Грета сказала, что там растёт всё, «от лихорадки и от сглазу, и от мужниного дурного глаза тоже». Река — хорошо: рыба, вода, мельница когда-то была. Дорога — хорошо: до Мирхейвена день пути на телеге, а там порт, рынок, купцы со всего света. Люди — хорошо, сказала Аня, и все удивлённо на неё посмотрели, а потом Бенедикт неуверенно сказал: «Ну, работать мы умеем, ваша милость, это да. Ежели есть чем».

Плохое шло легче. Денег нет. Зерна нет. Скота мало. Лошадей нет. Дом разваливается. Крыша течёт. Долги. Люди маркграфа. Прошлым летом засуха, позапрошлым — град.

Аня рисовала. Тучки, тучки, тучки. Квадрат заполнялся быстро.

Когда дошли до квадрата «что может стать хорошо», все снова замолчали. Тут нужно было уже не вспоминать, а придумывать. А придумывать эти люди, кажется, разучились давно — может, никогда и не умели. Им не давали.

Аня смотрела на четыре квадрата, на солнышки и тучки, на неумелую волчью голову, и думала.

«Овцы. Молоко. Травы. Дорога до порта. Мало денег, много работы. Нужно что-то, что делается из того, что есть, почти без вложений. Что можно продать в городе. Что не испортится за день пути. Что можно продать дорого. Что…»

Она подняла голову и посмотрела на Марту.

— Марта, — сказала она, заходя слева. — Ты говорила, что старая госпожа ходила в коровник. А что она делала с молоком?

Марта расцвела. Всё её круглое лицо засияло, как сковородка на солнце.

— Как — что, ваша милость? — сказала она. — Сыр, конечно! Сыр она варила! Неужто не помните?

* * *

Сыроварня стояла в самом конце сада, за заросшим малинником, за старой каменной оградой — так далеко от дома, что Аня, обходя имение утром, её не заметила. Да и мудрено было заметить: её почти целиком затянул плющ, а крыша поросла мхом так, что казалась зелёным холмиком.

Мирра вела её туда после совета, торопясь и оглядываясь, как будто они шли на тайное свидание. Остальные остались на кухне. Гудрик хотел пойти — Аня видела это по тому, как он встал, — но в последний момент отвернулся к окну и сказал, что у него дела в погребе.

— Он не любит туда ходить, — шепнула Мирра, когда они пробирались сквозь малинник. — Никогда не ходит. Даже мимо. С тех пор, как старая госпожа…

— Умерла?

— Ага. — Мирра кивнула. — Мне тогда пять лет было. Я помню, все плакали. А Гудрик не плакал. Он ушёл в лес на три дня, и барон его хотел выгнать, а потом он вернулся, и вот с тех пор такой.

— Какой?

— Ну… — Мирра подумала. — Ворчит.

Они пролезли через пролом в ограде. Перед ними был маленький каменный домик — приземистый, из серых плоских камней, с низкой дубовой дверью, окованной железом. Дверь заросла по пояс крапивой. На двери висел замок — огромный, ржавый, как будто его не открывали лет десять.

Мирра порылась в переднике и достала ключ.

— Я его у Гудрика взяла, — призналась она, краснея. — Пока он не видел. Он, может, и не дал бы.

Ключ проворачивался с трудом. Мирра пыхтела, налегая на него обеими руками. Наконец что-то хрустнуло, щёлкнуло, и замок открылся. Аня потянула дверь. Петли завизжали — пронзительно, жалобно, — и дверь подалась.

Изнутри пахнуло холодом.

И запахом.

Аня замерла на пороге.

Это был не запах сырости, не запах плесени, не запах заброшенного помещения — хотя всё это тоже было. Сквозь всё это пробивалось другое. Тонкое, едва уловимое, въевшееся в камень за десятилетия. Молочное. Сливочное. Кисловатое и тёплое одновременно. С чем-то травяным, горьковатым, летним — как будто где-то в глубине каменного домика всё ещё лежала головка сыра, которую забыли тридцать лет назад.

Внутри было полутемно. Свет проникал только через дверь и через маленькое оконце под самым потолком, затянутое паутиной. Аня шагнула внутрь. Глаза постепенно привыкали.

Первая комната — небольшая, с каменным полом и каменным очагом в углу. Над очагом — железный крюк, на котором когда-то, наверное, висел котёл. Вдоль стены — длинный каменный стол, гладкий, отполированный. На столе — пыль, толстая, как войлок, а под пылью — какие-то предметы. Аня подошла, провела пальцем. Под пылью была деревянная лопатка. Медный нож с костяной ручкой. Глиняная миска. Связка истлевших верёвочек.

В дальней стене — ещё одна дверь, узкая, и ступени вниз.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.